

*Все, что память сбересть мне старается,
Пропадает в безумных годах...*

Александр Блок

Имя Виктора Викторовича Будакова для воронежской культуры и литературы значимое. Приметно оно и на отечественном горизонте. Его творчество высоко ценили выдающиеся русские писатели и общественные деятели Валентин Распутин и Борис Струкалин, Василий Белов и Василий Песков, Владимир Крупин и...

Более полувека Виктор Викторович кропотливо служит нравственному возвышению человеческих душ как журналист, публицист, издатель, краевед, писатель. И любой из этих сфер деятельности он отдавался всецело, достигая максимума, который всегда обозначал перед собой. В 60-х годах прошлого века корреспондент воронежской газеты «Молодой коммунар» был признан лучшим в стране из пишущих на тему Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. Как редактор Центрально-Черноземного издательства за выпуск уникальной книжной серии «Отчий край» отмечен наградами Госкомиздата СССР и ВДНХ СССР. Писательская стезя недавно принесла ему одну из самых престижных наград Союза писателей

России — премию «Слово»... И дело даже не в количестве разных поощрений, хотя и они в определенной степени характеризуют уровень профессионализма. Главное, в конечном итоге, то, что человек отдает людям. И в этом плане Виктору Будакову есть что рассказать своим читателям. В последнее время он сосредоточенно работал над книгой воспоминаний и раздумий «Срок твой земной».

В предисловии писатель отмечает: «Давно друзья-единомышленники советовали мне заняться страницами воспоминаний: мол, многое повидал, со многими встречался, многое пережил.

Воспоминания — не буквальная, разумеется, запись жизни. Да и буквально записанный дневник не дает подлинности каждой строки в силу субъективности, пристрастности пишущего или неспособности его к панорамному видению.

Я начал вспоминать, едва начал осознавать, что я есть в мире. Детство — целый мир. Юность — целый мир. Когда изошли они, я взялся за лирическую запись недавнего прошедшего. Эта запись-повесть (студенческая тетрадь) не могла быть насквозь лирически-осветленной, поскольку в прожитом было всякое, случались поступки малоразумные, подчас стыдные, поступки-проступки; я их начал и завершил в студенчестве, на перетопке годов пятидесятых-шестидесятых прошлого века, они были не без «художества», реальные события, вехи, штрихи, увиденные собственными детскими, юношескими глазами или рассказанные родными, отягчались побочными красотами, поверхностными оценками, а пропускалось вольно или невольно что-то важное, что понимаешь только на избытке жизни.

После студенческих лет записи хотя и продолжались, но не столь обстоятельно, от случая к случаю; и не только в блокнотах и тетрадках, а и на отдельных листках, клочках бумаги, — так

наспех, обрывочно и сокращенно, что уже год-второй спустя мне самому трудно было в них разобраться.

В начале нынешнего века — двадцать первого, — собрав уцелевшие записи, я не стал давние записи «совершенствовать», разве что собранное разбил на подглавки, добавил мысли и наблюдения, пояснения и размышления, часто самые разнородные (добавленное, чтобы был виден разновременный текст, дается курсивно, многострочное — еще и в скобках); таким образом появилась некоторая хронологическая лента прожитого, в большей полноте событийно-содержательного, психологического, общественного... Однако многое, нередко существенное, осталось за бортами этой лодки воспоминаний, лишь частично отображенное в моих книгах на жанрово иных страницах — от рассказов-притч, исторических повествований, лирических и публицистических эссе до стихотворных строк...

Воспоминания, по Достоевскому, равносильны страданию. Есть даже старинные молитвы о спасении от них. Воспоминания неотделимы от чувства Родины, народа, потрясений всемирных. Нередко увиденное мною вызывало чувства неожиданные: где-то и когда-то я все это уже видел, переживал, пережил.

Радостно вспоминать? Горестно вспоминать? Больно вспоминать?

Грустно — как сказал мой старший сын в своем последнем предсмертном стихотворении...»

И здесь слова писателя наполнены глубоким нравственным чувством личной ответственности, радости и боли за все, что было, что с нами происходит сегодня и что, может быть, случится.

Сегодня редакция предлагает вниманию читателей главы из новой книги Виктора Будакова.

Владимир НОВОСЕЛОВ

Ижний Карабут — это далеко от Германии, Италии и многократно дальше от Японии. Это Средняя Россия, донское воронежское село.

Июль сорок второго года. Жарко, пыльно. Нашествие иноземцев, та-рахтенье мотоциклов, чужая речь. То ли на краешке младенческой памяти, то ли из дедушкиного рассказа: уже на третий день мы лишились коровы, нашей главной кормилицы; дедушка увидел, как Буренку итальянцы, еще редкие в селе, левадами увели в неизвестном направлении, и поспешил к немецкому коменданту, жалостно объяснив ему, что без молока младенцу, то есть мне, не выжить. К вечеру, как велел немец, мы пришли в комендатуру, где во дворе просторного подворья наша Буренка мирно пощипывала травку. Дедушка долго благодарил коменданта, а тот, высокий, сильный и совсем обычный человек, только в непривычной для повидавших стариковских глаз форме, чему-то улыбался и вдруг неожиданно на сносном русском сказал: «Преступление и наказание». Дедушка и много позже, не зная книжного первоисточника, нередко повторял эти слова.

(Белая-белая Россось... Цветовое восприятие из детства — светлое, поэтическое восприятие первого городка на жизненном пути; столь яркое и памятное, что много позже одну из своих книг я назвал «Белая моя Россось», этим откровенно лирическим названием, разумеется, не исчерпывая объективной, многообразной полноты близкого к Дону райцентра.

Но самая первая моя встреча с Россосью — младенчески беспаятная и жесткая: месяцы в местном концлагере, правда, и не столь тяжелом, как подворонежские, тем более — зарубежные. Сразу приходят на память Дахау, Майданек, Освенцим — о них и слышишь постоянно. А более давние — Талергоф, Терезин? Концлагеря Первой мировой войны, где австрийцами были изведены несосчитанные жизни русинов. А британские концлагеря, первые в мире, опробованные англичанами еще во время Англо-бурской войны?)

Солонцы. Прелестный хуторок редкими хатами жил посреди задумчивых полей в семи верстах от Нижнего Карабута, в семнадцати — от Старой Калитвы, выходцами из которой в начале века и был заселен. И там после концлагеря в декабре сорок второго у своей дочери — в тесноте, да не в обиде — поселились мои дедушка и бабушка, моя мама и я. На хуторе размещалась небольшая итальянская часть. Веди себя итальянцы спокойно, без чувства западного превосходства, и все бы ничего, да чем-то я, двухлетний смугленький младенец с огромными карими глазенками, приглянулся младшему офицеру, и он с моими дедушкой и бабушкой затеял разговор, к которому стал возвращаться: дескать, увезет русского малыша в Италию, к морю, там ему будет радостно расти, намного теплее, чем в холодной России.

Дедушка сколотил ящик, утеплил его, закрепил на санках и велел маме: «Уезжай, дочь, к своим в Криничное, а то шутки с этим доброхотом плохи. Гляди, чего захотел: русского малыша итальянцем вырастить. Дурень думками богатеет: скоро наши начнут наступление, и ему самому не далее соседнего района ноги-руки укоротят!»

Глядя на ночь, мама тронулась в неблизкий путь. Было морозно, звезды собрались миллионами и заглядывали в мою непривычную кровать. Я, естественно, об этом не догадывался, но почти всю ночь не спал и несколько раз упрашивал: «Мама, я уже не хочу кататься. Хватит кататься!» Уснул я только при конце дороги, невдалеке от Криничного.

Криничное. Краснокирпичное здание, в котором расположился немецкий лазарет. Моя болезнь — когда все во мне выгорало, обезвоживалось и я, палимый жаром, лежал уже без стога, с закрытыми глазами. Последняя надежда — вражеский лазарет в здании школы, где еще не столь давно училась моя мать и учительствовал мой отец. Немецкий врач осмотрел меня, сделал укол, выдал матери порошков и сказал, что сын будет жить, а мать, верно, постарается вырастить из него доброго человека. Сказал — опять-таки на русском, пусть и ломаном.

А вскоре со стороны села Дерезоватое (Первомайское) с Осиянной горы скатились в Криничное прерывистые цепи советских солдат на лыжах, в белых масках-халатах, и были они — как белые ангелы возмездия; и не различали они, кто из оказавшихся здесь в тот час немцев и им союзных румын, итальянцев, финнов был лютее, а кто добрее, кто по принуждению, а кто по доброй воле добрался аж до придонских холмов и сел. Все были нашественики, оккупанты, захватчики.

Но врач? Но врачи из вражеского стана, не стрелявшие в детей, стариков и женщин, а часто спасавшие их?

А в Нижнем Карабуге, когда входили наши, один солдат, вскарабкавшись на верх дома, разжег на крыше костер-сигнал, и дедушкин дом, один из немногих уцелевших, один из лучших в селе, запыхал жадно, словно спеша встретиться с душами соседних хат, сожженных ранее врагами. Кто же был этот советский, может, и русский-русский малый, не подумавший даже извиниться за уничтоженный кров, в сожжении которого не было никакой военной надобности?

Моим младенческим глазам родное село (нас с мамой через полмезаца из Криничного в Нижний счастливо привезли лошадкой, впряженной в розвальни) предстало разрушенным, обгорелым, малолюдным, запомнилось больше женскими платками и юбками, нежели мужичьими пиджаками и шапками.

Весна. Вечер. Лежу на открытой веранде. Свисают акации. Они скоро зацветут, но они и так хороши. Мысли мои едва двигаются, может, словно акациевые тени, — не видимые, не слышимые... Идет весна сорок пятого года. Я не знаю, что осталось семь дней до победы, — затихнут орудия и перестанут падать солдаты; еще — семь бесконечно длинных дней до Победы! И погибают солдаты, еще тысячами погибают они, но я не знаю этого и мечтаю о чем-то детском.

Вторая мировая, а для моей родины Великая Отечественная, полгода нарезавшая окопы, полыхавшая в селе и его окрестностях (здесь, по донским берегам, пролегла линия фронта), три зимы как откатилась на запад, завершаясь тяжелейшей победой.

А окопы остались — словно вчера открытые. И мы, дети, продолжали воевать. Штурмами брали взятые нашими отцами вражеские траншеи. Часто с жертвами: целые арсеналы мин, снарядов, патронов остались брошенными, и едва ли какой поход моих сверстников обходился без того, чтобы у кого-нибудь не оторвало пальцы, кисть, часть рук, а то и вовсе одним ребенком-человеком становилось меньше на земле.

И не тогда ли, томимый изглубинными токами совести, впервые спросил себя: почему именно тебе, а не твоему сверстнику-другу, раненному от нечаянно уцелевшей мины или погибшему при взрыве кинутого в костер снаряда, дано идти по белосветной задумчивой, заманчивой дороге? Имеешь ли ты право жить, как живешь, на тяжелой от горя земле? Удивительно, что уже в детстве задумываешься над этим. Хотя, сказать и так: дети, узнавшие пал и грохот войны, не совсем дети, они рано взрослеют.

Грохот войны все еще звучит в моих ушах (и двадцать лет спустя). Иные эпизоды из того времени помнятся зыбко, но, повторенно рассказанные родными, вжи-

ве стоят перед глазами. Как никогда не уйти из зримой памяти тому страшному, за крайними приколичными хатами вдруг образованному островку погибших, которых женщины свезли с изрыбленного окопами и воронками поля: *«Погибшие неровными рядами / Лежали за околицей села, / За редкими от вырубок садами, / Уже вне силы Блага или Зла».*

И на выжженном токе войны незабываемое — возвращение отца, неискалеченного и сильного, в офицерской форме, со многими орденами и медалями на груди, — и эта великая радость семьи; и моя, не осознающая всего трагического для села и для страны, детская радость, необъяснимо для моих малых лет ставшая пригасать при виде дружков-сверстников, в бедные хатки которых (в иные — в начале войны, в иные — недавно), словно могильные кресты, вошли похоронки.

ДОН И ОКРЕСТНОСТИ МАЛОЙ РОДИНЫ

Дон... Первое потрясение — не когда я вышел к донскому берегу сельской в яру дорогой, а когда с отцом вскоре после войны поднялся на придонские кручи; когда увидел не только Дон, Стародонье, Коловерть-лес, пойменные луга, пески, близкие загадочные села (противолежащие левобережные **Николаевка, Казинка**), задонские дали, но и словно бы весь географический мир планеты, который благосклонно открылся мне. Потом на кручи восходил великое множество раз, и всякий раз — то было новое радостное открытие, узнавание, прозрение.

Поездки, а чаще хождения по родственникам в соседние хутора, деревни и села — их названия хочется повторять снова и снова, самим повторением будто возвращаясь туда: **Духовое, Семейки, Ясное, Солонцы, Топило, Крещатник, Кулаковка, Старая Калитва, Новая Калитва**, — для меня были как откровение, сравнимое разве с чувствами моих предков-паломников, добредававших до Лавры на Днепре, а то и до Святой земли. И что, спросить бы, могло взволновать детское сердце? Хутор Духовое в глухом яру с боковой долины, покрытым мелколесьем? (Казалось, оттуда не выбраться, но рядом протекали Дон и луг, по которому шла травяная дорога на Нижний Карабут). Зеленый, в рдниках и кустах красной смородины овраг на хуторе Солонцы? Подступавшее к его хатам поле с желто-золотистыми подсолнухами? У хутора Ясное ветхо-серая бревенчатая мельница, словно молчаливо укорявшая проходящих мимо за свою заброшенность?

Недалеко от хутора Ясного на мягко очерченной бугровине с косогорными боковинами однажды попали с мамой под дождь с такой грозой, какой я больше нигде и никогда не видел. Молнии били беспрерывно, по косогору на колхозной бахче загорелся курень, мама растерялась и просила меня глядеть в небо и просить у Неба спасения, но я испуганно, неотрывно, доверчиво смотрел ей в глаза, желая весь погрузиться в них, будто только таким образом можно было спастись. Молнии били по всему бугру, как если бы прицельно били орудия по главному враждебному плацдарму.

Иные змеились у наших ног. Поскольку грозы в нашем селе и окрестье были частыми залетай-гостями (Дон, высокие отроги приречной гряды, холмы в поле — молниепритягивающие), многие побаивались гроз; иные из женщин и моих сверстников и сверстниц прятались в погребах, я тоже боялся грозы, но, чудом оставшись жив, несмотря на малый возраст стал фаталистически воспринимать любые грозы и бури.

И так мой мир расширялся, расширялся...

Какие морозы били по селу! Какая жара учерняла село! Как старший мальчик Петр по прозвищу Скаженный истязал пойманных кошек и птиц, терзал филиненка, стегал вымученного пахотой савраску. Как пьяные гонялись за ежиком, пока не раздавили его. Как рубили вербу на огороде. Я не все живое любил, но полюбил коней, ежей, голубей, пчел, муравьев, божьих коровок, кроликов, оленей; меньше — собак и кошек, хотя и последние в детстве являлись полноправными, желанными, мною пестуемыми существами в доме и на подворье.

Моя боль и сочувствие к листку древесному передались младшему сыну и внуку.

Спуски на лыжах с круч. С высокой макушки холма мчусь в глубокий лог — называют его Провалье. И действительно, некий угрожающий провал. Приближается «стрыбалка» — естественный трамплин, весьма коварный. Падают взявшие первый разбег мои сверстники-соперники. Если удержусь, я сегодня победитель. Бабушка при мне наказывает матери: «Не отпускай ты его на лыжах в это Провалье, и в Медвежье, и на придонские кручи у Прорана. Расшибется». «Да, и расшибусь», — по-ребячески гордынно мысленно отвечаю я. Но это еще, понимаю, не скоро. И будут там другие трамплины и другие люди — отчего-то хотящие, чтобы я расшибся. Сегодня же я победитель. И конечно, мне, маловозрастному, еще не скоро придет мысль, что любая победа — начало неизбежного поражения.

Лето после второго класса. Мой переплыв Стародонья и Дона. Незабываемый. И насколько продуманный старшими! Лодка подвигалась рядом со мною, а ближе к противоположному берегу приотсталла, будто давая понять, что сидящие на лодке верят в мои силы, мою храбрость, но один семнадцатилетний парень все же плыл неподалеку позади на случай моей растерянности от судороги или еще чего-нибудь непредвиденного.

Но тут бы убавить высокий штить. Молнии, положим, заняты не нами, а наши матери среди трудов неженских, тягостных и праведных находят-таки повод вспыльчиво и по-старинному заняться нами. Однажды в летне-праздничный день солнечный свет затмился быстро набежавшими чернильными тучами, засверкали молнии, загрохотал гром, а я, до грозы дав слово переплыть Стародонье туда-обратно, шагнул в воду. Ребята и девчонки пытались меня остановить, но мне не хотелось перед ними выставить свою слабость. Под грохот грозы, через высокие волны переплыв дался тяжело, но судьба миловала, и я, возвратясь, победительно, внутренне ликующе вышел на берег — тот был ребяче-девчачий и... странно молчаливый.

И только тут я увидел мать. Бледная как полотно, она резко подошла ко мне и с причитаниями трижды огрела меня хворостинной. Было больно; сильнее же боли молчаливо кричали обида и унижение. Быстрыми шагами я стал подниматься по косогору, взошел на стародонские кручи и оставался там дотемна. Когда пришел домой, никто меня не бранил, не отчитывал, отец только и сказал: «Люди часто гибнут по глупости. Думай, когда что-либо собираешься сделать. Рисковать следует — спасая других, а не ради бахвальства. Не ради хвастовства».

А первое ощущение смерти явилось в шесть лет. Это случилось возле Кислички — глубокого оврага-яра, какой без малого отрезка соединял два дорогих моему детству леска — Коловерть-лес и Побишное. Там была молотья новоурожаемой пшеницы, там управлялись наши разгоряченные в страде матери, а я вскарабкался по приставленной лестнице на копну соломы и наверху долго резвился, прыгал, дурачился — и вдруг мягко и неотвратимо провалился в непроницаемую

темь (одна копка оказалась прислоненной к другой, их створ меня поглотил, сжал ознобом и страхом). Тут же я почувствовал землю, но темь была словно могильная. Впервые меня сковало чувство безысходности, тяжелый панцирь страха, ощущение конца моей детской жизни. Потом не лихорадочно, а устало-медленно начал торкаться в сбитые пролежни соломы — в одну сторону, в другую, в третью. Третья — словно раздвинулась. Я пополз, пополз и вдруг вынырнул из западни. Сияло солнце, мир был широк и зовущ, но я уже был другим — не тем, что часом раньше. Я почувствовал неотвратимость земной смерти, и сколь ранней или сколь поздней она будет — уже не являлось главным.

Через три года, по весне, когда сошло половодье, потянуло меня с другом Витей Севрюковым побывать у родника под стародонской кручей. Мы стояли у самой воды и бросали — кто дальше — сырые куски мела. С кручевой верховины сползала в Стародонье меловая шуга, иногда и большие камни — в десятке метров от нас. И вдруг меня оглушил нарастающий ослепительный грохот: мимо, не более чем в метре, на огромной скорости низринулась в воду и обдала меня несметными брызгами огромная меловая глыбина. Подбежал мой дружок, белый как мел. Он бессловесно глядел на меня расширенными глазами, видать, не веря, что я жив.

(Не раз выдавался миг — на краю гибели. Об этом — опасных приключений детства — есть и в моем повествовании «Волны»; один из эпизодов отражен в рассказе-эссе «Нечаянно остаться в живых». Именно так — нечаянно: на всех Милость Вышняя, которая не знает пределов во временах и пространствах).

Поездка на катере вверх по Дону в районный городок **Павловск**, и на палубе нечаянная встреча матери с непонятной мне отцовской симпатией — заезжей учительницей. Последняя — стройная, красивая, с холодными ироничными глазами. Мама не раз отзывалась о ней тоже иронически, мол, откуда взялась таковая? Почувствовав мою не умеющую выразиться в слове неприязнь, она, учительница русского языка и литературы, внимательно взгляделась в меня, словно обнаруживая во мне неожиданное, небывалое, и произнесла: «Слишком бледный мальчик. Не болеет ли? И сразу видно — впечатлительный. Попомните, Мария Антоновна, мое слово: Виктор, ваш сын, прославит Нижний Карабут да и весь Воронежский край».

ШКОЛА В РОДНОМ НИЖНЕМ КАРАБУТЕ

В семь лет я пошел в первый класс Нижне-Карабутской семилетней школы, в которой директорствовал мой отец, на недавней войне испытанный атаки и обороны, и плен, и глум, вырвавшийся из плена, добравшийся к своим аж от Западной Украины, прошедший фильтрационный в задонском Калаче лагерь и дальше выказавший ум и храбрость, представленный к званию Героя Советского Союза, семиорденоносный, единственный на весь район с орденом Ленина.

Над Доном — редкие, не выжженные и не вырубленные войной сады. Вишневые, яблоневые, грушевые. Бело-розовые и белые пламена. На холмах за Белою дорогой — пламенно-желтые горлицы, алые воронцы-пионы, синие кисточки «бабок» на высоких тоненьких ножках. А далее — празелень придонских и задонских лесов, молодой озими на холмистых полях.

Школа — толстые кирпичные стены бывшей церкви. Три первых класса, в каждом — за сорок школьников. Почти все мы ранее встречались; теперь — постепенно обретаются друзья: Петя Думин, Саша Сакардин, Ваня Колесников, Вася Кунахов, Витя Севрюков, Вася Носков...

Дорога в школу — когда не осенняя распутица или зимняя снежокрутица, после которой на дорогах, на огородах и косогорах улеживается пышная сугробная залежь, — хороша для глаз и сердца. Особенно по весне: за своротом улицы попадаешь на деревянный мосток через овраг, впадающий в Дон и по весне полный вешней воды, в которой взрослые подсаками ловят рыбицу самую разную; позже — приовражье цветет одуванчиками и зеленеет разнотравьем. А дальше, мимо сельского клуба и лавки, — еще один сворот дороги на подъем, наверх, где ждет нас школа. Нравился этот подъем наверх, иногда казалось, что он выведет под самые облака. И даже дальше — в голубую солнечную высь.

Уже на первых месяцах первого класса нас стали приучать к ответственности: группам или по-одному поручали какое-нибудь дело — «раздавали портфели». Я сызмальства не любил связанности чем-либо и кем-либо, а тут мне поручили быть санитаром класса с непременным условием носить повязку Красного Креста. Учительнице я запальчиво пообещал, что никаких повязок носить не буду. То же самое, чуть не плача, сказал и бабушке, а она стала утешать меня самым кротким образом, мол, не отказывайся, детка, так, глядишь, и начальником когда-нибудь станешь. Последнее бабушкино соображение вызвало во мне затаенной плачущий гнев с обещаниями вообще бросить школу; и только вскоре пришедший отец успокоил довольно быстро. Сказал: «Сынок, ты школьник — и уже многое можешь понимать. Ну что тебе эта повязка? Ты ее через неделю снимешь, и никто о ней не вспомнит. А делу санитара тебе подучиться надо. В войну санитарки и санитары, взрослые и совсем еще мальчишки и девчушки, знаешь, скольких наших бойцов с поля боя вынесли? Тысячи солдат! Тысячи таких сел, как Нижний Карабут».

Уроки, уроки, уроки... Правописание — среди любимых. Однажды заезжие родственники дали мне поглядеть книгу на старославянском. Они уехали, а мне долго еще виделся этот диковинный, сказочный бег букв и я мечтал, что когда-нибудь мне самому удастся не только читать книги на старославянском, но и исполнить эти сказочные, заветные буквы, строки, страницы.

Школа же доставляла мне радость едва не каждодневную, увеличивая мое начальное знание: учителя более старших классов, узнав о моем живом интересе к истории, географии, астрономии, нередко после уроков подпитывали меня сведениями из дисциплин-наук, к которым мои сверстники обратятся только через несколько лет.

За Нисолоновкой (Населеновкой), когда-то отдельной деревенькой, а теперь двурядной улицей Нижнего Карабута, тянущейся из степи к Дону (или наоборот, за урывисто-глинистым Вихьярьем-логом), с меловых круч спускаются к Стародонью глубокие, с отвесными стенами ярки — Стенки. Меж ними по скосовой крутизне круч лепятся худенькие криворослые березки и сосны — как позже узнаю, реликтовые и в такой соединенности редчайшие в Европе. Нас же, младосверстников, притягивал по осени красно-испятанный барбарис, кислые удлиненные плоды которого до первой оскомины были для нас лучшим лакомством.

Потрясение. На стыке Дона и Стародонья утонул мой, двумя годами старше, соклассник Егор с хутора Ясного. На фронте потерявший отца, меня он недолюбливал за моего отца — директора школы, который не только орденосцем вернулся с войны, но и был назначен на денежнооплачиваемую должность... Его выловили на седьмой день, и было страшно на него взглянуть: весь синий, распухший и настолько далекий от нас, что даже не хватило сил взглянуться в него. Уто-

нувший — дал мне уснуть в первую ночь после похорон и еще несколько раз являлся — молчаливый, с протянутой к видимому Дону рукой. На какие-то недели даже родная река стала мне чужой.

А через месяц — новое потрясение. В раннесолнечный час из совхоза «Начало», где жили наши родственники, я и мой друг Витя Севрюков весело шагали в не столь далекую, километрах в пяти, Россошь, где нас ждала рыночная сутолока, пестрый поток толпы, а главное — мороженое. И вдруг — в один миг оба столбенели, попятились назад. На переднем дереве у дороги, у тропинки вдоль посадки, на сильной ветке вяза затянутый веревочной петлей висел парень.

Поскольку был воскресный день, вскоре появились взрослые, идущие в Россошь на базар. Но мы были первые, увидевшие такую непонятную смерть. Услышав от подошедших первые догадки (то ли от несчастной любви он повесился, то ли от тяжелой болезни, то ли от измены матери, предавшей его отца, то ли даже не сам он повесился, а его повесили темные дружки), мы поспешили уйти; но от увиденного я избавился не скоро. Повесившийся или повешенный вдруг возник перед глазами и словно силился что-то сказать.

(С того лета я стал часто думать о тайне жизни и смерти. Я жил с тем подчас спокойным, а подчас и томительным ощущением, которое, верно, пережито миллионами ушедших: повинуюсь общему закону, иду и я...)

Навсегда же просветляет пушкинское: «И сам, покорный общему закону, переменился я... Минувшее меня обжмет живо»).

В воскресный осенний день мы, десятилетние мальчишки, малыши шажками входим в пещерный зев, прорубленный богомольцами-паломниками в глинисто-меловом слое. Пещер две — обе в Стинках, то есть Стенках, названных так по крутизне оврагов, на отвесных боковинах которых густо пестрят темные норки галочных гнезд. Здесь целая вежа детства. Обвязавшись веревками, мои сверстники скалолазничали по отвесным глинистым боковинам, выбирая из птичьих гнезд маленьких галчат. Мама, узнав и о моем недобром соучастии в том разоре, сказала резко: «Вот представь, тебя чужие люди выкрали из дома для забавы или еще как, а нам, семье твоей, с ума сходить и слезы лить. Вот так и у родителей этих галчат!..» С той поры я птичьих гнезд не тревожил, но сверстникам, носившим галчат на плече, до некоторой поры завидовал. Впрочем, уже вызревало во мне: мы ловим галок, а сами-то пойманы. Где? Когда? Кем?

В одну из пещер я входил сам, боясь, но проверяя себя на смелость. Пещера побольше ближнестеночной, но осталась явно недоконченной, незавершенной. Так же, наверное, и нам по-хорошему не завершить земной жизни.

Неожиданно для сентября затеялся снег. Тихий, добрый. Разве не так, незлышно и печально, упадут на меня через десяток лет слова девушки в синем — как она чисто, тихо и неотразимо входила в мою жизнь! Или снег похож на меня, когда меня закружит и захлестнет, да и кружит едва не с детства. Снегу грустно? Мне ли грустно?

По воскресеньям подростки и ребята Нижнего Карабута и Николаевки — двух слобод, разделенных Доном, — выходят друг против друга, чтобы померяться силами и, как говорят старшие, испытать кулаки и честь. Может быть, эти еженедельные воскресные «ледовые побоища» — оскребыши войны, холодных и голодных годин, когда потаенные темные инстинкты еще властвуют над взрослыми и малыши, толкают на несправедное. Действительно, через несколько лет сменившая нас молодежь свою юношескую честь разрешала мирно, во встречах если не радушных, то и не враждебных, вполне достойных.

А в этот ясный зимний день с гиканьем и свистом одна толпа гонит другую.

Уже перебежали Дон. На песчаном спуске к реке — полоска николаевских хат. И, словно подстегнутые этой близостью, наши противостоятели вдруг разворачиваются, а вслед им и мы, и они преследуют нас до самого нижнекарабутского берега. Потом наступаем мы, потом катится их возвратная волна. И так длится едва не весь день. И когда, казалось, проглянула ничья (враждующие стороны устали и теперь на расстоянии полусотни метров языкасто перебранивались), предводитель Нижнего и Нисолоновки крупно зашагал вперед и увлек за собою остальных. Порыв был неудержимый, готовый смести и толпу, и лозы, и хаты. Николаевцы побежали, но их вожак, словно вмороженный в лед, остался на месте. Я не знаю, какое чувство удержало его, после об этом часто думал. Быть может, это было чувство капитана, не покинувшего свой корабль...

Его набросились бить — кто кулаками, кто ветками, кто хворостяными палками. Подхваченный напором массы, я подбежал к нему с кизяком, непонятно где поднятым. Нечаянно, неожиданно он взглянул на меня — как-то грустно, понимающе, вне осуждения. Кизяк выпал из моей было замахнувшейся руки. Вмиг стало не по себе: может, впервые по-настоящему настиг стыд. В тот день я так накурился, что проболел три дня и больше никогда не курил. За дни болезни думал о том, что в Николаевке живут мои родственники (со-единные рода моего), что они вместе с моим отцом уходили на фронт, вместе воевали против действительного врага-захватчика. Это было первое чувство рода, моего рода как единого целого, но разбросанного по земле. Таким образом книжное знание про родовую, родо-племенную строй приобретало зримый образ.

Летом 1952 года как образцовый школьник я был премирован поездкой в **Сталинград** (перед тем мама подарила мне повесть Виктора Некрасова «В окопах Сталинграда» — хорошо изданную книгу, и она, бегло прочитанная, добавила мне желания побывать в знаменитом городе на Волге). Нам, группе отличников из разных сел нашего района, возглавляемой двумя учителями из головной школы, выделили полторку с жесткими скамейками, с открытым, ничем, кроме бортовин, не защищенным кузовом. Было верхом безрассудства отправляться в столь дальнюю даль минуя азбучные правила безопасности, но после недавней всеокрушительной войны подобное путешествие никому не виделось опасным. Проехали казачьи земли, и вот — окраина великого города. Впервые мною увиденный асфальт. Нет, я и не думал тогда, что он не дает дышать земле, заглушает ростки трав и кустарников, не знал, что впервые асфальтовые лавы обнаружили у Мертвого моря и в древности его называли иудейской смолой. Подумал я об одном: как было бы хорошо, если бы такой асфальт вдруг да пролегал бы сизой дорожной лентой от Нижнего Карабута до Новой Калитвы и путникам и подводам не страшна была бы грязь-распутица.

(Через полвека в моем повествовании «Честь имею. Геополитик Снесарев: на полях войны и мира» в «Эпilogе с воспоминаниями» такими предстанут памятные образы Сталинграда, Волги, Волго-Донского канала:

«Школьником побывал я на летних каникулах в Сталинграде. Город был еще не весь восстановлен, дома зияли руинами. Долго стоял в подвале, где несколькими годами ранее располагался штаб Паулюса. Прошел и приречные уголки, красивый речной вокзал. Путешествовал по Волге, ступал и на противоположный, в песках, берег.

Мерно двигались баржи. Я ничего не знал про революционные страшные расстрельные баржи. Шедшие по Волге — были мирного вида, везли лес, железо, камень. Иные стояли причаленными у берега и заменяли жилища. Не знал я и того, что на одной из таких барж несколькими годами ранее жили кинематог-

рафисты, а с ними американский писатель Стейнбек, который, как прежде англичанин Уэллс, видел Россию во мгле, в разрухе и бедности, но увидел и другое: наших девушек — опрятными, наш народ — выстоявшим и мужественным; и рассказал об этом в «Русском дневнике», найдя добрые слова о русских в самом начале холодной войны.

А затем наша школьная группа отправилась на Волго-Дон. У начала его воздымался монумент Сталину. Сколь он был огромен! В школьных поездках у меня образовалась привычка: приезжая в новый город, подходить к многоэтажному дому, глядеть наверх — дух захватывало поначалу даже при виде третьего этажа, а еще выше!.. Но сколь высок был этот далеко глядящий монумент?!

*Вождь стоял что рок. Верно, он
Целостно мог видеть Волго-Дон
Как парад пилонов и колонн...
Был один пустяк — тяжелый стон...»)*

Да, у начала Волго-Донского канала нас заставляет почувствовать свою малость огромный монумент — высокий и тяжелый, в шинели. Из камня и бронзы, он словно давит — или чувствительному сердцу вдруг покажется, что сердце земли с переборами бьется.

Путешествие по Волго-Донскому каналу. И снова меня поражают колонны, пилоны, шлюзы — державное великолепие.

Экскурсионная группа возвращалась с Волго-Дона. В сумерках проезжали Хопер. Под пятью огромными дубами веселилась молодежь. Две гармони старались, как баяны. И задалось так гулянье, что, казалось, вечными будут эти пять дубов и развеселые девчата-казачки. Что останется вечным? Все забывается, как ложный гимн.

По недавно прочитанному «Тихому Дону», пленившему даже строками о природе, в прежних книгах пробираемыми, — знакомые станицы: **Мигулинская, Казанская**; и вот — **Богучар**, земля воронежская.

Две незабываемых летних рыбалки. Одна — у Стенок, на Стародонье, другая — на слиянии Стародонья и Дона. На первой — с отцом — до позднего вечера: хорошо ловилась шемая, у нас называемая шемайкой, и, когда мы при уже взошедшей луне сворачивали удочки, у нас было десятка три широких, ладонелопастых рыбин. А в Дону в тот год удивительно щедро двигалась чехонь — говорили, из Цимлянского моря, — и вскоре я с двумя соседними ребятами пошел попытать удачи. Чехонь ловилась на голый крючок, и мои дружки поймали по пятьсот рыбин, я же — пятьдесят три, но, прежде никогда столь щедро не ловивший, загорелся: попросил маму приготовить мне хлеба, повидла, воды и разбудить меня до рассвета. Уже в пять утра я был на донском берегу. Забросил удочку, все во мне дрожало от ожидания. Прошел час, другой, третий. Ни одной рыбины, ни одной рыбешки. Я надломил удилище в знак обета далее вовсе не рыбачить и положил удочку на вербный пень: может, кому повезет. Я и впрямь больше не рыбачил. Правда, дед Семен, брат моего дедушки, бригадир рыболовецкой артели в Нижнем Карабуте, иногда снабжал нас донскими дарами: подчас — сазаном, судаком и даже стерлядью; да и отец увлекся посильней моего, так что даже приобрел сеть, занялся копчением шемайки, и она, копченая на жару вишневых веток в летней печке на огороде, всегда у нас водилась, пока отца не направили на «повышение» в село за полсотни километров от родного Нижнего.

(Каждый день, беря в руки выписываемую отцом «Правду», начинал чтение с прогляда событий в Корее. Далекая, не знаемая мною Корея волновала меня, как полуостров надежды. Эта, помнится, тридцать восьмая параллель стала для меня как бы одушевленной, я просил ее подвинуться на юг. Каждый день надеялся, что дальневосточная страна станет единой, то есть северокорейские войска, китайские добровольцы потеснят лисынмановцев и американцев, сбросят в море. Я не хотел войны, но хотел победы. Многого не знал, так надеясь).

Петр Думин, Иван Колесников, Александр Сакардин, Александр Кулинченко, Виктор Севрюков, Иван Толочков, Василий Кунахов, Василий Носков, Иван Семко, Валерий Горемыкин — мои друзья детства; с иными чаще встречаюсь, с друзьями — реже, безо всех детство было бы обедненным, не столь полноцветным и душевно щедрым.

Петр Думин — веселый, сильный парень, с ним мы с третьего по пятый класс ранней осенью отправлялись на поиски патронов в Провалье и Вихьярье, на придонские кручи, вскапывали песчано-глинистый или крейдовой почвенный верх, обычно находили немецкие и итальянские гильзы вроссыпь и патроны целыми обоймами, радовались, что мы их нашли, а не они — наших отцов. От еще таившихся на не столь давней фронтовой полосе мин и гранат Бог, как говорят, нас миловал.

Хатенка Ивана Колесникова — напротив нашего дома; он сирота, а за мать ему — старшая сестра, а еще сестер — как луковиц в лукошке: то ли шесть, то ли семь, друг от друга мало отличимых, вечно друг на друга кричащих. Откуда-то Иван узнал о предводителе крестьянского восстания в соседней Старой Калитве и любил похвастаться, что он, Колесников Иван Сергеевич, внук того самого предводителя и носит не только его фамилию, но и имя-отчество. Время было еще сталинское, послевоенное, жесткое, но никто из местновластных, по счастью, не заинтересовался биографическими похвалами-связями моего друга. С ним мы любили бывать в небольшом урочище Побишное, принося оттуда пазухи диких яблок да еще причудливо изогнутые ветви и корни — оба видели в них что-то живое, требовался только нож для отсечения лишнего.

Александр Кулинченко — мой троюродный брат, тремя годами моложе меня; с ним часто бывали в нашем саду, охотясь за бабочками и шмелями.

Александр Сакардин учился в параллельном классе, в школе мы постоянно встречались, после школы не раз бывали в походах по окрестностям села, каждый раз открывая что-то новое, радующее или огорчающее.

Виктор Севрюков и Василий Носков были, как и я, любителями книг, шахмат, поклонниками футбольного «Спартака» — и это нас объединяло. Иногда за шахматами или за спорами о «Молодой гвардии» мы задерживались на поваленном дереве у донского берега допоздна, за что наши матери обычно выговаривали нам с разной степенью долготы и запальчивости.

Иван Семко пришел в нашу школу (вместе с ним еще трое ребят и три девчонки) из лесного хутора Топило, мы с ним быстро и накрепко подружились и позже утягивались в разные опасные «разведки».

Иван Толочков и Василий Кунахов живут на конце деревни, они держались несколько особняком, но глядеть на весенний ледоход или позднее на весенний духовской луг и наполнять сумки черемшой, козельками, щавелем мы отправлялись вместе, дружеской ватагой.

На лугу детских и раннеюношеских моих увлечений — три Нины: Василенкова, Обиух, Диканьская... Василенкова — поэзия и тайна детства. Обиух — соклассница, впечатляюще красивая дивчина, и это с нею — Дон, вечерняя Прорана, черемуха, поэтический роман — случайно и бездарно оборванный. А Диканьской,

старше меня, прошедшей броды и воды, я даже наивно признавался в своем чувстве, после чего Петр Пекарь, ее первый возлюбленный, шутливо предупредил меня: «Нинка хоть и не донская глубь, а смотри, как бы не утонул!»

Весна. Мои первые стихи. Они не о девчонках, не о великих стройках — они о малой родине, о Нижнем Карабуте. О слободском селе, где каждая тропушка мной исхожена, а каждая яблонька мне родная, а каждому придонскому роднику я дал свое название — поэтическое. (Здесь стоит сказать, что поэтичны даже названия колхозов в селе — «Правда», «Красный луч»; и только третий колхоз, на нисолоновском ряду, именно там, где наше семейное жилище, носит название словно рычащее, жесткое, вне лирических ассоциаций: «Прогресс». *Может, в этом, детском сердцем трудно принятом названии — первопричина моего дальнейшего сдержанного, двойственного отношения к самому явлению Progressus*).

Принимаюсь за некое историко-лирическое повествование о Нижнем Карабуте. Узнаю, что он основан выходцами из слободы Писаревская Харьковской губернии в 1760 году — почти сто лет спустя после разинского восстания. Узнанное огорчает. От стариков слышал, что здешние поселенцы поддержали плывшего вверх по Дону Фрола Разина, следовательно, и они были бунтарями. Оказываются — нет. А бунтари для юного возраста — в ореоле.

Название Нижний Карабут — от сотника Герасима Карабута, по цареву указу имевшего здесь свои угодья и льготы. А фамилия того Герасима — со следами восточных нашествий. От них остались курганы, которые я, по неразумию, подготавливал сверстников раскопать. Пусть не до Батыя, но до какого-либо темника мы докопаемся: будем судить завоевателя! К тому же в курганах глубоко спят разные древности, такие загадочные, непонятные...

(Смерть Сталина. У Нижнего Карабута двойное отношение к земному концу главы государства. Иные женщины всплакнули, одна заплакала навзрыд. Кто-то оживился, сказав, что уже не будут колхозниц за горсть зерна морить в тюрьме да и налоги отменят на огородные яблони и живность — учтенных-перечтенных хохлаток. Кто-то напомнил, что после страшной засухи сорок шестого селу не дали изойти в голоде, а еще — про ежегодные уценки на самое первонеобходимое, не забыли даже про великий сталинский план преобразования природы. Нам же, учащимся, думалось, что теперь со дня на день начнется война. Что было в этом предчувствии? Тяжесть от недавно пережитого нашествия? Жажда жизни не под бомбами — мы же, еще дети, подписались под Стокгольмским воззванием мира? Разумеется, никто из нас ни сном ни духом не ведал о том, что у американских военных действительно имелись планы — как напасть на нас, какие армады бомбардировщиков выслать, чтобы разбомбить главные русские города. Не знали, что заморские воители не решались превратить планы в действие из-за многократного подсчета, по которому выходило, что при нападении треть американских пилотов не возвратилась бы, а для следующего окончательного разгрома остальные бы две трети в воздух не поднялись. Наши бы — полетели! Присяга Родине и бой вдалеке от родины? В истории не раз бывало и так).

Пионерский лагерь в Павловске... В одно из июльских воскресений проходят спортивные соревнования лагеря, и я — победитель: в беге на короткие дистанции, по речному заплыву, метанию копья. Странное чувство то ли гордости, то ли радости, но оно омрачается исходящим от других и на меня направленными, впервые по-настоящему мной почувствованными импульсами ревности, зависти, даже злобы.

А на следующей неделе — Белогорьевские пещеры... особый мир. Темнота, пугающая детство, и словно бы обморочные огоньки свечей, давно погасших.

После пионерского лагеря — Москва. Поощрительная экскурсия длилась недели полторы. Нас разместили в Сокольниках в одной из школ, в классе на четвертом этаже, приспособленном под временное общежитие. Враз возникшая, меня опекающая дружба с Анатолием Жилиевым из Новой Калитвы. Он постарше меня, наши кровати рядом, и мы подолгу, подчас до полуночи вели тихие беседы о малой родине, о Доне, о войне, которая огненной пилой разрешила наши близкие придонские села, о литературе и живописи. Именно он пробудил во мне внимание к русским передвижникам и французским импрессионистам, а в Третьяковской галерее стал моим гидом, рассказывая о знаменитых картинах так, словно еще недавно водил здесь экскурсии.

Кремль, Красная площадь, метрополитен, державные, со шпильями, здания-высотки, Химкинский речной вокзал и целый день плавание по каналу имени Москвы — на всю жизнь памятное.

А что — в мире?

(В семилетней школе Нижнего Карабута зародилась моя любовь к русскому языку и отечественной литературе, а еще — истории и географии. Горы, озера, реки обоих земных полушарий я знал так, словно они располагались близ моего Нижнего. На карте по северному тундровому поясу, открытому студеным ветрам Ледовитого океана, вычерчивал опояска гор, чтобы теплее стране было... А еще утыкал карту Союза значками железа, нефти, конечно, не подозревая, что все это через полсотни лет попадет в руки ненародные и даже негосударственные.

А в моем континентальном краю (нравилось слово — континент!) — и солнце, и снега. Горячее солнце и холодные снега, часто многомесячные...

О родном селе и его школе, о детских годах — мои стихи и публицистика, повесть «В Стародонье вода светла», повествование в коротких эссе «Волны», рассказы «Яблоки», «Миронова гора», «Колодец у Белой дороги», «Бакены на реке», «Зийшов мисяц над горою», «Вспомни дальний луг», «Долгие поля», «Читающий Евангелие от Иоанна»... Разумеется, рассказанное в строке — тысячная доля пережитого. Остальное написанное или затерялось при переездах, или пошло на выброс и в огонь, или же, незаписанное, истаяло невозвратимо).

Припадаешь к напоенному солнцем и полынной коркой земли горицвету — и в нем если не вся земная философия, то вся земная радость и грусть. И что может быть выше этой прекрасной сопричастности? Но уйдешь в машинный мир, где на огромных скоростях спешат разбиться люди и поезда, и сам станешь суетливым. И только короткими снами будешь возвращаться в тот край, где впервые щеками коснулся горицвета, в те дни, когда ты — ребенок, мальчик — вглядывался в задонскую даль, открывая нечто и зыбкое, и верное в иных временах и пространствах.

(Много позже — как давно прочувствованное — прочитаю у Мигеля де Унамуно, испанского писателя-философа: «Можно пережить детство единожды, и только в одной стране, и должно в этой стране в какой-то степени продолжать оставаться ребенком, чтобы быть поэтом, ибо поэт — это человек, душа которого в наибольшей степени проникнута воспоминаниями детства»).

Всегда ли так — не знаю, но всякий раз, когда мне благоявлялось поэтическое состояние, оно рождалось из воспоминаний и повторных переживаний именно детства, хотя в самом этом состоянии клокотала взрослая жизнь с ее множественностью противоречий, взрослыми эмоциональными восприятиями мира, природы, Бога, человека...)

ВОСЬМОЙ КЛАСС В НОВОЙ КАЛИТВЕ

Осень. Задонские леса. Учащиеся — не в поле, как в прежние года. Ясные дни, зеленый, все ярче в разноцветье окрашиваемый полог пойменных дубрав и рош. Учащиеся собирают желуди.

Новая Калитва — районный центр. Две двухэтажные школы. (Со временем одна, еще земская, без пригляда разрушится; в другой, где я учился, разместятся библиотеки, кружки, спортивные секции. Но и это здание, якобы или в действительности из-за ветхости оставленное людскими шагами и голосами, сиротливо будет ждать своей конечной участи).

Квартира новостроившихся переселенцев из Дерезовки, подростковая девочка Маша с дюжиной записных книжечек. Однажды я попросил взглянуть. Сплошь — изречения великих: Данте, Петрарка, Сервантес, Гете, Шиллер, Бальзак, Гюго, Байрон, Стендаль, Диккенс... Почти все — о любви. Никого из русских, кроме Горького. Изречения такие классически-саморазумеющиеся, что, наверное, за долгую жизнь каждый сам может додуматься до них. Попросила и она мою записную тетрадь. А я писал целый трактат о дружбе русских и украинцев. Дескать, единые корни, единая кровь, такие братья, что и в сказке не сыскать, самые хорошие на земле — наивное желание-стремление подводить исторические и философские венцы под проживаемые тобой дни и думы. Наивнейшее напористое сочинение. Но жизненное. Мы какое столетие коренились рядом — «москали» и «хохлы». Русская Буйловка, а через Дон — Украинская Буйловка. Села, слободы, хуторки — Семейки, Духовое, Нижний Карабут, Николаевка, Казинка, Старая и Новая Калитва, Ольховатка, Гороховка, Дерезовка... Моя мама — украинка, отец — русский, пращурными корнями из-под Ярославля. (Правда, в годы украинизации Воронежской области в конце двадцатых — начале тридцатых годов прошлого века в свидетельстве о рождении, браке и смерти всех подряд записывали в украинцы). Маша быстро заскучала (не про любовь, не про страсти) и вернула мне запись-тетрадь, ничего не сказав. Видать, ей это интересно, как мертвому статистика о живых. Милая мордашка, тоненькая фигурка, надеется стать то ли балериной, то ли искусствоведом по части балерин. Скорей всего, выскочит за офицера из похватливых, зажиреет от довольства, и забудутся все художественные идеалы и затеи.

(Январь 1954 года — 300-летие Переяславской Рады. Вскоре по воле Хрущева, ретивого, не без природного «народного» ума, но крайне невежественного партийного «первача», лишенного чувства исторической перспективы, близорукого государственника, подменившего государство партией, — отдание Крыма Украинской соцреспублике. Но Крым — действительно земля русской боли и славы. За него Российская империя после нападения на Крым соединенных англичан, французов, турок, сардинцев вернула Порте даже стратегически важнейший Карс (к слову заметить, дважды отвоеванный у османов нашим земляком, уроженцем Черноземного края Муравьевым-Карским). Отец мой от первого до последнего дня оборонял Севастополь в Великой Отечественной. Вскоре после отшумевших празднований ему пришла небольшая, из тонких дощечек бандероль, внутри в слепленном полуистлелом — комсомольский билет, профсоюзный, три неотправленных письма: это краеведы обнаружили документы, в каменной почве битвы прикопанные последними защитниками Севастополя.)

Осень, дождь. По Тупке, длинному яру от Нижнего Карабута до Старой Калитвы, долгие километры тащил велосипед, будучи уже больным. Оставил его в овраге километра за два до села и весь в жару еле добрал домой. Отвалаясь с полмесяца, пока крапивница не отступила. Выздоровев, поплелся за велосипедом не без

надежды, что его кто-нибудь уволит. Но велосипед преданно дождался меня — на мою досаду: незадолго до школьных занятий в удаленном райцентре за неимением в магазине мужского отец взял женский, и это доставляло мне на людях неловкость: казалось, что все посмеиваются надо мной. Года через три не то что пошутки, а даже чьи-либо реальные знаки недоброты, зависти, злобы ко мне перестали меня занимать и тяготить, а тогда я на отца досадовал, словно он подсунил мне что-то стыдное.

Ползком по хрусткому ледовому панцирю Черной Калитвы, в полный рост по зимним разливным ледяным лугам-лукам... домой! Мой товарищ Василий Носков еще у моста, скрытого нашествными водами, засомневался, стоит ли по льду, тонкому, прогибному, при каждом нашем шаге дающему рассыпаться трещин, рисковать. Надо же: перед моими глазами вдруг возникла картина битвы на Чудском озере, проламывающие лед и уходящие под воду в железных латах рыцари на конях... глупо, бесславно; могла бы история обойтись без этого побоища на льдах, если только там все так, как в фильме «Александр Невский». Но сколь же глупее — провалились двое ребят, рискующих только из-за того, что давно не видели своих матушек.

Я рассмеялся. «Ты чего?» — спросил товарищ. «Да битва на Чудском озере привиделась».

А скоро под мартовско-апрельским солнцем истонченные льды с довременными гулами двинулись к морю. Дон весенне разлился, и я каждую субботу ночью (так приходил катерок) добирался до Нижнего Карабута, не зная лучших минут, когда в светлеющее предзорье безлюдной улицей шел от пристани к родному дому. Нередко, не заходя в дом, подходил к спортивной площадке в конце двора, разминулся на перекладине, исполняя «склепку» и «солнце», затем два-три десятка раз толкал двухпудовку (последнюю через месяц отдам «в дар» моим товарищам по школе Борису Таранцову и Олегу Лещенко, которые приедут за нею на все том же допотопном, всевыручательном катерке).

Книжный магазин. Небольшой домик под железной крышей на главной площади райцентра. Любил заглядывать туда, мог часами просматривать книжки, спасибо заведующей: видя мое пристрастие, она разрешила мне рыться в книжных полках. Там и приобрел многое — от Пушкина и Лермонтова до только что вышедшего Есенина.

Первое доверчивое знакомство со старшим из братьев Жилиевых, Василием — талантливым в технике, живописи, пении, в написании и чтении со сцены стихов. Столь же доверчивый короткий расспросный разговор с учителем, журналистом, поэтом Алексеем Прасоловым, нечаянная и более основательная беседа с Василием Белокрыловым — он учится в параллельном классе, старше меня, пишет стихи.

Влюбленные девочки из Дерезовки и Самодуровки, их наивные письма, в которых они забавно признаются в своих чувствах, назначая свидание аж в Краснодоне.

А я любил бродить окрестностями Новой Калитвы, всходил на **Миронову гору**, бывал на Белой горе, где располагалось «Заготзерно». Таковых на протяжении Дона набиралось множество: с обрывных меловых круч пшеница и иные злаки по трубам и желобам сыпались прямо на причаленные баржи, и доставка зерна на далекие расстояния обходилась дешевле, чем машинами и вагонами.

В Новой Калитве бывал я и раньше — в дни болезни или когда уезжал из райцентра в Сталинград и возвращался оттуда. Надписи на рублено-деревянном зер-

нохранилище: «Мин нет», а еще — «Опасно!» Так это «Опасно!» и осталось — не знаю, на сколь долгие годы.

В просторном зернохранилищном помещении нагружали пшеницу мои земляки, все девушки; и Галя Сидоренко, шестнадцатилетняя, заглядно красивая, смотрела на меня как на мальчика, который ей чем-то интересен, и у меня сложилась бессонная ночь с тревожными и радостными мыслями и необъяснимыми надеждами... А Галя позже уедет в Донбасс и погибнет — попадет в какой-то жидкий горячий котлован.

Год назад в Советском Союзе испытана водородная бомба, все за мир, а в мире идет видимая и невидимая война.

Летние каникулы — без отцовского и материнского пригляда (родители уже в Криничном, вернее, в соседски близкой, через луг видимой Григорьевке, куда отец как тридцатитысячник переведен председательствовать в колхозе). После кино с друзьями до полуночи играю в домино и карты; слава Богу, увлечение не из затяжных, скоро оставленное. Может, здесь сказались в раннем детстве услышанные рассказы бабушки о том, как в карты побывавшими в тюрьмах проигрываются человеческие души: играют в карты на жизнь человеческую. А может, откуда-то узнанное, что поэт Вяземский «профукал» на картах огромное состояние; может, просто не смог меня взять в плен этот наипростейший, вязкий игральный наркотик. А домино — не раз ставил на ребро костяные пластинки: при щелчке по первой, ударяя друг друга, валились все до единой; и однажды подумал, что так же на вселенских просторах сметаются люди, страны, времена.

ДЕВЯТЫЙ КЛАСС — В СТАРОЙ КАЛИТВЕ

Когда-то уездный, затем волостной городок. Слобода. Село. Многоверстный лог Тупка. Земское двухэтажное здание школы.

Причудливое сочетание привязанностей, тяготений, вкусов. Зачитываюсь стихами Некрасова: «От ликующих, праздно болтающих, / Обагряющих руки в крови / Уведи меня в стан погибающих / За великое дело любви!» И между тем с Наташей Пожаровой, десятиклассницей, проницательной умницей, обсуждаю возможность печоринства в наши дни. Разумеется, разговоры при встречах с нею — и о более существенном: о хлебах и стихах.

Пластинки... Более всего — вальсы и марши. Русские и малороссийские народные песни. Еще — «Полонез» Огинского. «Варшавянка». Последняя — прямо-таки потрясает. В голове и сердце много непонятого. Пролетарии восстают против сытых мира сего. Но кто их ведет, какие силы ведут?

Революционная «Варшавянка» — быстро схлынувшее. Но вскоре и на всю жизнь — разножанровое, для меня неугасаемо прекрасное: песня «Что стоишь, качаясь, тонкая рябина...», марш «Прощание славянки», всенародная песня от начала великой войны «Вставай, страна огромная!»

Кино под сводами церкви — странное ощущение: то ли кинофильмы — не из хороших, то ли церковные стены обдают холодом и дают знать, что не здесь бы грубоплотские или смехаческие картины демонстрировать.

А я-то, я? По утрам кручу на перекладине «солнце» в присутствии ребят, не умеющих это делать, но кручу не для них, а для девчонок, выходящих на школьный двор. Катя-милашка, при встрече со мной всегда улыбающаяся. Оля — тревожные мерцающие очи. Аня-кошка с зелеными зовущими глазами: узнав, что я прихожу в школу задолго до уроков, в ранний час, тоже стала следовать мне и признавалась в чувстве неумело и отчаянно. Все могло быть — ничего не могло быть.

Между тем (плугость юности!) приходится вступать в драки с более сильными: вдвоем с Ваней Семко принимаем вызов троих, постарше нас — и так или иначе все мы оказываемся на земле, пылью перепачканные, с красно подбитыми щеками и носами. На утренней поверке директор школы вызывает из строя только нас двоих, причем стрелы летят мимо Вани; он всего лишь соучастник, а главный злодей — я. Директор прямо-таки избивает меня словесно как нерадивого, строптивого, задиристого (последним, то есть задиристым, никогда не бывал!) Объяснение директорскому запалу, думаю, несложное: на прошлогоднем районном педагогическом совещании он резко схлестнулся с моим отцом, есть отрада отыграть-ся на его сыне...

Литературный кружок. Иван Акимович Пахомов, Наташа Пожарова и я. Иван Акимович — преподаватель военного дела, я за пререкания умудряюсь схлопотать у него две двойки, пока преподаватель не узнает, что я пишу стихи, и не прочитает их. Стихи о Доне, отеческом крае, Родине, вечно вынужденной воевать. И первые стихи моей кратковременной увлеченности девушкой — далеко не лучшей из прежде мною встреченных.

Весна. Как украинно разбросаны белые мазанки в Старой Калитве. Тополя и вязы смугло уходят к реке. Распускаются почки. И мне кажется, что на весну похожа девушка из соседнего класса, приезжая, пригранично-городская панночка Алла Чалая. Посвящая ей длинные стихи... Она увлекается то ли мною, то ли моими стихами, про которые Наташа Пожарова, прочитав, сказала: «Стихи чистые, да не метал бы ты бисера перед мелкой тварью. Это надо же: “В сравнении с ними вы — чудная ива пред дикой болотной лозой”. Да она хуже дурманной колочки! И месяца не потребуется, чтоб тебе самому убедиться». Все так и оказалось...

С неожиданного свидания со славной девушкой из заречной Ольховатки возвращаюсь мимо большого, давно усеянного могилами кладбища. Холодок в теле и душе — оттого, что разное является на ум, когда прохожу мимо погоста: вдруг да восстанут из могил давно умершие и тысячеголосо станут просить хлеба, брачных лож и зрелищ. Всякая чертовщина в духе гоголевского «Вия». А однажды является скорбная, зато фаталистически успокаивающая мысль, что все мы идем через огромное кладбище Земли.

На экзаменах — двойка по математике. Это значит — испорченное лето. И действительно, никак не мог взяться да подготовиться, все откладывал, а мысль о пересдаче всякий раз первой являлась перед сном и после сна, нависала над моим душевным состоянием, как туча, и омрачала мои летние дни, пока я в конце августа не покончил с нелепой задолженностью.

Мой старший троюродный брат еще в прошлом году, придя со службы (матрос на Черном море), подарил мне матросскую — от тельняшки до бескозырки — амуницию. Теперь я стал в нее облачаться, скорей всего, чтобы покрасоваться перед девчонками; даже, хотя не любитель фотографирований, с одной из юных землячек сфотографировался именно в моряцком облачении. Вдруг захватившая меня морская увлеченность — наверняка от отцовских рассказов: до войны он служил на том же Черном море, на крейсере «Червона Украина»; в войну, с первого до последнего дня обороны, защищал Севастополь. Воодушевленный отцовской морской страдой, я даже подумывал о поступлении в мореходное училище.

(Помимо матросской формы у меня оказался дорогостоящий, изготовленный несомненным умельцем плетеный ремень с большой декоративной застежкой, главным украшением которой был якорь. И даже у этого ремня — «биографические» мытарства: отец, поддавшись моим уговорам, приобрел его у земляка, капитана дальнего плавания, и я все лето щеголял, подпоясанный столь необычным

ремнем; через три года уже в студенчестве подарил его другу Ване Семко; после умыкнул его наш общий знакомец, но мой друг решительно сумел вернуть его себе; а через год ремень... исчез, пропал, как пропадают, теряются всякие вещи, к которым привыкаешь, которые становятся даже не частью твоего быта, но некоей частицей души).

АТТЕСТАТ ЗРЕЛОСТИ

Новая Калитва — не в новинку: бывал много раз в детстве, к тому же здесь начинал и оканчивал восьмой класс. Всюду знакомые — учащиеся, учителя. Школа — в двух зданиях двухэтажных; одно — еще земских времен, но мой десятый «Б» — в другом.

Иван Иванович Ткаченко, историк. От него пусть бегло узнаю о Куфаеве, о Леонтии Лебединском, о Снесареве — земляках разных жизненных судеб, но равно достойных. Преподавал он также и советскую литературу. Когда спросил нас о «Тихом Доне» и установилось короткое молчание, я сказал: «Одна из лучших книг двадцатого века. Одна из вершинных. Эпос!»

«Ну что ж, — чуть помедлил учитель, — соглашусь. Действительно из лучших, действительно вершинная, действительно жизнеравная, эпохальная».

(Однажды писали сочинение на вольную тему — получилось что-то вроде исповеди юного советского Печорина, который не знает, куда приложить свои силы и чувства, через военкомат надеется поучаствовать в арабо-израильском конфликте, но в военкомате только посмеялись. Иван Иванович, издавая сочинение, сказал: «У Виктора, как всегда, пять». Однако когда я открыл тетрадку — в конце сочинения никакой оценки не увидел. Иван Иванович был обстоятельный, собранный человек, он не мог машинально отложить сочинение без оценки, и я впервые подумал о его осторожности, может, страхе. Его отец — из раскулаченных. А местный энкаведист годами раньше, сказываю, похвалялся, что историку Ткаченко, участнику битвы под Москвой, поможет сменить Калитву на Колыму. То же самое обещал и для моего отца и еще нескольких видных фронтовиков района: энкаведист ни дня не был на войне и ненавидел воевавших. Разумеется, и энкаведист энкаведисту рознь. Было же: Воронеж летом сорок второго года на первой поре среди совсем немногих оборонял полк НКВД, почти полностью polegший. Так что едва ли можно судить о тяжелом однолинейно и приговорно: никакое явление, событие, даже лицо не исчерпываются абсолютной оценкой — сплошь темной или сплошь высветленной).

Издавлек наезжие — не только кладези знаний... Пришлый учитель-химик, медоточивец да новый ответственный секретарь «районки», мастер газетного слова, — с наклонностями для села небывальными и осуждаемыми.

Всеядное чтение — журнальное, газетное, русской и мировой классики, Горького, а еще — многопознавательные кружки и спортивные секции. Василий Белокрылов посмеивается над моими спортивными увлечениями, зато Борис Таранцов с завидной každодневной постоянностью толкает ядро и штангу. Володя Звягинцев, Володя Хребтов, Ваня Бунеев, Рая Каменева, Таня Сергеева, Нина Будко, Егор Посвежинный, Ваня Виткалов, Вася Игнатущенко — мои товарищи, хотя, конечно, по всей школе их гораздо больше.

На велосипеде — поездки в Криничное (чаще добирался велосипедом, но иногда отец, председатель соседнего с Криничным колхоза «Заря», подвозил меня на легковом «газике» с брезентовым верхом). Мои сверстники добирались в самые дальние села района пешком, и опять мне было неловко пользоваться председателемским транспортом; а вот фронтовой путь отца, отмеченного многочисленными орденами и медалями, был мне дорог — я им гордился.

В начале десятого класса меня намеревались «готовить» на золотую медаль. Но предполагалось одарить ими и чиновно-выделенных девушек, и мне не хотелось кого-либо обидеть: говорили, что медалей строго определенное число на район. Отец при моем намерении-отступлении сказал: «Знай, что без медали тебе любой институт будет устраивать конкурс». Я отшутился, мол, есть конкурсы поважнее, которые жизнь устраивает каждодневно.

Должная быть суровой, но не ставшая таковой беседа со мной директора средней школы Павла Ивановича Жилиева произошла после заседания девичьего ученического комитета: милые девушки из районно-чиновнических семей взялись нас «прорабатывать» за пропуски занятий, да так, что довели моего товарища до слез, и мне пришлось дать им резкую отповедь, после чего милые девушки нажаловались школьному начальству. А тут еще новые пропуски уроков — из-за разгрузки баржи с углем. Скоро меня вызвали к директору, и я был уверен, что в его кабинете меня ждет большой разнос. Павел Иванович, ответив на мое «Здравствуйте!», пригласил сесть, расспросил о семье, об отце, с которым был хорошо знаком. И далее спросил: «Вам же не хочется огорчать отца?» — «Не хочется!» — грустно подтвердил я. Далее Павел Иванович расспросил о барже — велика ли она, сколько тонн угля пришлось разгрузить, сколь долго разгружали, сплоченной ли оказалась наша ученическая бригада? И под конец разговора: «С начальником пристани вы заранее договорились об оплате? Заплатили-то по-божески? Не обманули?.. И что же вы, если не тайна, приобрели за труды свои?» Я отвечал медленно, словно сился припомнить, дескать, купил матери цветастую косынку, еще томик Пушкина, авторучку, три общих тетради, еще конфет для угощенья соклассниц, еще (помявшись) бутылку красного вина. Павел Иванович покупки одобрил, кроме, естественно, последней. «Во всем вы верно поступили, вот только вино... конечно же, плохое, червивое? Да будь оно и распрекрасное заморское, надо его обходить. Вы многих больших людей — писателей, художников, поэтов — знаете и по учебникам, и по жизни, и скольких погубило дурное пристрастие! Алкоголь — не поддайтесь ему смолоду. Я ведь верю в вас. Скоро начнется ваша внешкольная жизнь, так что поменьше соблазнов и ошибок. И в добрый путь!»

Мне выдают аттестат зрелости среди первых, среди медалистов. Это директорская приязнь ко мне или ошибочный расклад аттестатов в классных стопках?

Нечто вроде актового зала — раздвинутые перегородки двух классов. Сдвинутые столы. У наших учителей биршеванное настроение. Чуть грустное, столь же чуть веселое. В большом зале — семьдесят юношей и девушек. Несколько — истинных красавиц. Иные, шутя и всерьез, предлагали раньше себя в невесты по окончании десятилетки. У двух — что-то улыбочиво-тревожное, робко-звущее, кротко-дерзкое при обмене нашими взглядами. Но разве справедливо, чтобы две девушки в тебя влюбились, ты-то достоин ли нежного чувства хотя бы одной из них, целомудренных, достижимых?

Учителя предлагают тосты. Поднимают бокалы; они выпивают не впервые, а вот мои сверстники и сверстницы пьют в первый раз — сначала пригубливают и... осушают до дна.

Выпускницы в зале такие лепестковые, такие светлые, словно троицины лучики; девушки, чьи глаза, чьи юные тела радостно-тревожно пробуждаются, зовут, влекут... как журавлиные клики? Попроще, попроще излагай, друг аттестованный!

И вдруг я чувствую, что моя нежность переходит в грусть, а грусть — в горечь, чувствую, что мне хочется одиночества. Когда молодая толпа дружно направляется к Дону, я, чтоб никого из двух не обидеть, ухожу один; вернее, какую-то часть пути — с девчонкой, которой нравился (не из тех двух, уже недостижимых). Поднимаемся на Миронову гору, которую ощущаю, как часть своей судьбы. Наступает рассвет.

Выпускной? Я давно уже выпущен в поле; какими цветами и сорняками оно заросшее? Но разве не словно бы стреножен — и больно оттого, что не понимаю: когда это случилось?

МИМО КИЕВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Мужское имя у «матери городов русских» — **Киев**. Тогда, выходит, отец — Великий Новгород, откуда начинал русское движение на юг князь Владимир, будущий креститель Руси. Я подал бумаги-документы на филологический факультет университета, который носит имя кобзаря — Тараса Шевченко.

Настаивался субботний вечерний час, до понедельника надо было где-то перекантоваться. С чемоданом, шаг от шагу тяжелевшим, плутая по ближним к университету улицам, набрел на переполненную полуподвальную ночлежку. Хозяин развел руками, мол, «гостиница-люкс» забита до отказа, но сдался на уговоры якобы привыкшего к неприхотливости будущего студюозуса: постелил суконное одеяло на трех сдвинутых стульях. И сколь же крепок и сладок был мой сон после изнурительной долговагонной езды и накопившейся усталости, что три сдвинутых деревянных стула воспринялись мною дороже двенадцати золотых! *(И эта нечаянная киевская ночлежка через долгие годы вспоминалась мне, когда я, на всяких житейских изломах потеряв нормальный сон, в просторной, к отдыху благорасполагающей квартире ночью, переходя с удобной кровати на удобный диван, не мог уснуть, ворочаясь и так и эдак, ложась на спину и на бок, взбивая и переворачивая подушку, подкладывая под нее руку, считая до ста и до тысячи, включая свет, надеясь при чтении тихо уйти в сон, стараясь, как советуют йоги, расслабляться, пытаюсь не думать ни о чем и думая обо всем...)*

С понедельника я обосновался на Соломенке в университетском студенческом общежитии. Соединенные общей двадцатиквадратной площадью — забавный народ. Крестьянский паренек из понизовий Днепра Вита Вовченко, писавший наивные чистые стихи и робевший их читать. Володя Сопрун, сильный, уважительный, добродушный. Ляня Козловский, за драку отчисленный из Минского университета и не от скуки ли подавшийся в Киевский. Леон (фамилия скоро выпала из памяти) — рослый, пожалуй, красивый, холено-красивый, густокудрявый, слегка на Байрона похожий и всем довольный племянник то ли директора, то ли главного редактора Киевского издательства художественной литературы, где якобы готовилась к печати книга его стихов — неужели тех, при чтении коих автором нас всех троих тянуло сбежать подальше, хоть до самой границы, лишь бы не угнетал самодовольный, самоуверенный Леонов голос?!

К экзаменам не готовился, а все дни бродил в надднепровских парках. Во мне крепло желание подальше отпрянуть от новых наук, новых знакомств, я — словно в пустыне и опустынен. Стоял август, а меня октябрьло. Еще не поступив в университет, я уже внутренне уходил от него.

Сочинение написал за час, а позже наскоро написал и для моих сопартниц, милейших дивчин, как выяснилось, родственниц-племянниц министра внутренних дел и министра сельского хозяйства Украины, которые, когда всем нам выставили самые высокие оценки, благодарно пригласили меня на чай.

Я и устный русский сдал легко, даже заслужил похвалу. Но... вскоре пришел взять документы, весьма удивив членов приемной комиссии, которые заверяли меня в моем поступлении как решенном, поскольку главные пороги преодолены успешно. Но моей судьбе, видать, не нужен был Киевский университет. И я прошел мимо...

Меня влекла... мореходка.

ПОТЕМКИНСКАЯ ЛЕСТНИЦА В ОДЕССЕ

Город лирический и героический, мореглазый, неунывный, славный разбойными шайками и стихотворцами... **Одесса!** Не знаю, кто кого более туда сманил — Ленья Козловский меня или я его, но мы устремились туда так, словно там ждали берега кисельные, а встречи — заветные. Первое разочарование: в мореходном училище, куда мы намеревались поступить, дабы после исходить-исплавать моря и океаны, вступительные экзамены завершились. Потемкинская лестница. Ночеванье в фуникулере. Безраздельно лунная ночь. Зашедший милиционер долго, невыносимо долго простоял не двигаясь, затем развернулся и уже снаружи прикрыл дверь канатного трамвая. Видать, Бог его хранил. До того мы примостились в разных углах фуникулера, и, когда я подошел к своему содорожнику, он все еще в руках держал нож. «Я ухожу», — сказал ему, потрясенный блескучей сталью, чудом не примененной. «Ну что ж, — миролюбиво отреагировал он, — твоя воля». Я ни разу не обернулся, он ни разу меня не окликнул.

Я вышел на Потемкинскую лестницу, меньше всего думая о Потемкине, тем более — о броненосце с одноименным названием, тем более — о фильме «Броненосец Потемкин». Я был один-одинешенек на этой удивительной лестнице, исхоженной миллионами ног, пытался прилечь и вздремнуть на каменном приборусе. Рассвет — неохотный, море — чужое, Приморский бульвар пустынен и словно пригнетен скорой осенью.

Одесса была оклеена объявлениями — молодых призывали на великие стройки коммунизма, на сибирский лесоповал, на городские благоустроительные месячники. Но по несовершеннолетию мои руки нигде не требовались.

Деньги кончились, и тогда я кинулся в чахлый за вокзалом овражистый скверик. Вернее, туда меня увлек смотрящий за привокзалем. На дне оврага — смуглокожие, крупноносые, бывалые. Сказать бы иначе — пробы некуда ставить. Темная шайка. И мои белоснежные рубашки. Их и потребовали показать. Главный, повертев в руках три новехонькие, нераспакованные, брезгливо спросил: «Сколько за тряпки дать? Пятнадцать рублей?» — «Дай двадцать», — великодушно попросил приведший меня сюда. Билет мой из Одессы стоил сто двадцать. Я резко взял рубашки из рук слегка удивленного главного, положил их в чемодан, захопнул его и неспешно стал подниматься по склону. «Катись, проваливай, сопляк!» — понеслись мне вослед шики и крики. В том возрасте, когда и голой грудью бросаются на штык, я развернулся и сделал шаг в овраг — против наглых и сильных своей сплоченностью. «Стой, парень! — резко остановил тот, что привел меня сюда. — Убирайся подобру-поздорову. Тебе еще пожить надо!» И, словно ведомый невидимым спасителем, я бесповоротно зашагал вверх.

«Моя милиция меня бережет», — вспомнил я неумеренное увлечение Маяковским в восьмом классе и, мысленно заручась его словами, как незримым мандатом, направился в ближайшее отделение милиции. Объяснил бедственное свое положение — без работы и без надежды на работу. Положил на стол часы и пакет с ненадеванной рубашкой. И попросил — выдать мне денег на билет до Харькова, я их вышлю, как только возвращусь домой. Начальник отдела, подполковник, задумчиво и пронизательно, словно некий рентген, просветил меня насквозь, велел взять обратно часы и рубашку, вызвал сержанта, приказав оформить мне билет в простом вагоне.

Забавное испытание — ехали, наверное, муж и жена, молодые, беспечные, они оставили авоську яблок. И я (отцово воспитание) так и не взял ни единого, хотя есть хотел невыносимо, а яблоки эти вагонная проводница, верно, выбросила в мусорный накопитель.

И так я проехал через всю Украину, ее прибранные поля и села, и сошел на перроне Харьковского вокзала.

РОДНЫЕ В ХАРЬКОВЕ

Мамин дядя, Федор, жил и служил в **Харькове**, и год назад я с троюродным братом побывал у него. И город был для меня добрым знакомцем. Более того, я уже прочитал и о старинном Харькове — вернее, степных просторах будущей Харьковщины: половецкая степь, Шаркунь, крымские набеги, шляхи и нивы Слободской Украины, откуда родом предки моей мамы, пленительные песни, вишенники и девушки Полтавщины... Еще не ведомая мне, но близкая даль.

Я был голоден, без копейки в кармане, и, взглянув на мой «студенческий» чемодан, кондукторша даже не стала с меня требовать трех копеек за билет. Ранний трамвай поднимал на Холодную гору, знакомую мне по рассказам отца о роте, которая в сорок третьем попала здесь в засаду, и он на полдня очутился в плену, из которого опасно, отчаянно выбрался. Найдя искомый дом и квартиру на втором этаже, нажал на звонок. Ни звука ответного. Я звонил в ранний час, и мне никто не отвечал; я уже отчаялся и обессилено опустился на каменную ступень лестницы.

Тут вышла дядина невестка, милая молодая женщина-спасительница, мне по родственному обрадовалась. И был я дядиной семьей принят, как неожиданный, но желанный гость. Весь день мы бродили городскими примечательными улицами, забредали в исторические уголки, даже фотографировались (хотя я с юности не любил фотографироваться) на главной площади у памятников Тарасу Шевченко и Ленину, показавшихся мне несуразно огромными. Я не сразу вспомнил, что Харьков в первые годы большевистской власти являлся столицей Украинской Советской Республики и его украшали памятниками соответственно: величаво-столично.

Дальше ехал уже радостью наполненный — в ожидании встречи с родными местами. Добрался до **Лисок**, пересел на пригородный до **Евдаково** и, сойдя, почувствовал дыхание Дона, Россоши, Нижнего Карабута.

РОСТОВ, МАРИУПОЛЬ, ДОНЕЦК...

Октябрь. «Хочу соединить в себе крестьянина, интеллигента и рабочего», — так я сказал отцу перед отъездом в **Ростов** донской. Не знаю, убедил ли его в дельности своего намерения, но денег он дал. Я действительно намеревался устроиться на «Россельмаш», где работал мой троюродный старший брат. Он жил в заводском общежитии, тридцатилетний, неженатый, приходила к нему его любовница, и я со своей просьбой пожить у него и устроиться на завод был ему совсем ненужной докукой. Прописать он меня не смог или не захотел, и тогда я решил податься в Мариуполь, на «Азовсталь».

Скоро **Таганрог**. Сажу в ресторане-буфете парохода, заказал две бутылки пива и слегка захмелел. На всем протяжении мелководного Азовского моря установлены бакены. Все равно за кормой остается рыже-черная полоса ила... Как это прелестно, что нам везде расставляют бакены! Не заблудитесь, молодые и старые! Первое в моей жизни море — и такое не «моревое»...

В **Мариуполе (Жданове)** я успел поглядеть на могучие трубы и оранжево-пепельные дымы «Азовстали». Почти убежденный, что в стальных цехах сам бы закалился как сталь, я прощался с грустью отверженного: так простудился на осенних ветрах Азовского моря, что едва хватило сил добраться до вокзала, где повезло взять билет на поезд «Мариуполь — Воронеж» перед самым его отбытием. Очнулся в **Донецке** — город показался прекрасным: широкий проспект шел чуть на понижение, затем поднимался вверх и уводил в даль, казалось, недостижимую. Проехал еще сколько времени, и вот **Митрофановка**, а отсюда — десяток

верст до Криничного. Первым мне встретился объезжавший поля отец, председатель из призыва тридцатитысячников, в 1955 году оставивший директорство школы в Нижнем Карабуте и направленный «поднимать» колхоз имени Молотова, вскоре переименованный в «Зарю». Он поздоровался шутливо: «Ну как, рабочий класс, вернулся шефствовать над селом?» Моей одиссее от Киева, Одессы, Харькова до Ростова, Таганрога, Мариуполя настал конец.

СПУТНИК ЗЕМЛИ НАД КРИНИЧНЫМ

Проходит осень, идет зима. Я работаю в колхозе «Заря» (деревня Григорьевка, иначе Бобровка, хутора Поддубновка, Новотроицк, Ильюшевка), успел отметить на всякого рода колхозных точках: куда затаскиваемые-перетаскиваемые тюки и бревна, погрузка, разгрузка сена, соломы, зерна. В райцентр **Ольховатка** более чем за полсотни верст возим на трехтонном ГАЗоне свеклу. До Ольховатки ноги успевают промерзнуть, но на обратном пути согревает взятый в котловинах сахарного завода горячий жом — отжатые клубни свеклы, моей матерью и матерями моих товарищей выпестованные на криничанских, калитвянских, росошанских и иных родных полях.

Пишет Витя Вовченко, друг из Украины. Сугубо крестьянский сын, вспоминает дни, проведенные вместе в Киевском университете и в общежитии на Соломенке как самые замечательные. Присылает стихи на русском и украинском.

Шахматный турнир в Криничном и Новой Калитве, я — из нечаянных победителей, удостоенный высокого спортивного разряда и... портсигара с изображением памятника советскому воину в Трептов-парке. (Нелепо — проиграть одну — выигрывая ее! — шахматную партию из семи... а каково — проиграть жизнь?) Первое похвальное упоминание моего имени в печати, пусть и районной: пустое...

В редакции районного «Красного знамени» встречи с Белокрыловым, Пожаровой, Каменево́й, Прасоловым — короткие: жизнь, видать, уводит нас разными путями-предначертениями.

Вечерами много читаю. Отец по моей просьбе выписал через «Книгу-почтой» четырехтомный «Словарь русского языка», а на почте приобрел пятитомник Бунина в голубом коленкоре. Одиночество мое усиливается. Растет раздвоенность. Плохо. Иногда — как буриданов осел. Все во имя корпорации, а я не корпоративен. Однажды прочитал строки Ницше: «"Всякое одиночество — грех", — говорит стадо... И когда ты скажешь: "У меня не единая с вами совесть", — это будет жалобой и тоской». Эти слова меня притягивают, хотя чувствую, есть в них некая гордыня, некая неправда и немочь.

Целительна нераздельность с природой. Часто ухожу на луг или в поле... Затеется первый снег, светлый, робкий, обволакивающий.

Стал бывать в криничанском клубе. Тихо и незаметно влюбился в местную красавицу — Зину Луценко. Внешне она похожа на актрису Быстрицкую, но только более застенчивая, кроткая, нежели Аксинья в «донском» фильме. И было-то проявленного чувства — полгода, а словно на долгие годы. Мы бродили по заснеженному лугу, и зеленой точкой пульсировал в своем околоземном кружении первый в мире спутник — советский. Впервые по-настоящему поцеловались. Впервые, впервые...

И первая настоящая драка. Как если бы олени изготовились к свадебной драке. Но там противоборство один на один, а здесь... Умолк вальс, ко мне подошли двое (а за ними стояли еще двое крепко сбитых, по осени вернувшихся из армии). От них разлило водкой. «Ты к Зине больше не подходи!» — сказал самый молодой, мой сверстник. «Это решать ей!» — коротко, но резко ответил я. «Тогда выйдем из клуба!» — «Выйдем, сколько вас?!»

Никто не обратил внимания, как пятеро покинули клубный зал... Кинулись бить — кто руками, а кто и ногами, и мне бы защищать лицо, но подвернулась рука с недавно приобретенными часами, и у меня одна была мысль: как бы часы не разбились, не сломались стрелками и не остановились; словно вместе с разбитыми, остановленными часами могла сломаться, остановиться моя жизнь.

На той же неделе — колхозное комсомольское собрание, все ребята-комсомольцы и все участники возлеклубного «боя» были собраны, и сколько же я услышал резких слов в адрес рассупоненных молодцев, и сколь добрых — в свой адрес; горячо говорили о чести, о достоинстве, резко осуждали удары несправедливой силы из-за угла. Сохранится ли это — стремление к чести, достоинству, совести, справедливости — через четверть века, через полвека? Сохранятся ли эти молодые соборы-собрания в деревне, да и сохранятся ли сами деревни?

По весне я прицепщик, помощник тракториста. Трактор липецкого производства — высокий, как страус, и, мне показалось, малоустойчивый. Апрельская ночь. Боронование. Один на один с большим полем. Дремотно. Радость перебивает дремоту. Как далек от меня Ницше! Да и все философы и философствующие! Мне радостно оттого, что я частичка общей народной судьбы, делаю необходимое; оттого, что завтра я вновь встречу с любимой, и будем мы долго бродить меж луговых верб, и буду целовать ее черно-реснитчатые глаза, очи милой малороссианки; хорошо на душе оттого, что я — надолго ли? — ушел от теории и практики одиночества и перестал жить умозрительно.

Моя родимая сторонка — еще недавно разоренная, бывшая небывалым полем войны среднерусская полоса. И далече — приказахская и семиреченски-казацья степь, еще недавно девственная целина. И как избавиться русской сторонке от этого вечного обирательства? У отца, председателя-тридцатитысячника, сумевшего за два года вывести колхоз в передовые, две грузовые машины и комбайн взяли на целину. Отца, помимо целины и кукурузы, не радуют всякоохватные хрущевские нововведения: разгром районных машинно-тракторных станций, МТС (сосредоточенной техпомощи колхозам), деление обкомов на городские и сельские (увеличение партийно-чиновного корпуса), затратная и чреватая последствиями перекройка республиканских территорий.

Завершается моя восемнадцатая весна. Зина — как верность и жизнь? Отчего же я донимаю, скорее, мучаю ее, понуждая отказаться от любимых привязанностей и принять мои внежизненные схемопостроения. Недавно — дождливейшая ночь над Криничным, молнии освещали чуланчик. И я, зная, что она чиста, украл ее мелкими подозрениями на будущее (в настоящем не было и капельки повода) до тех пор, пока она не попросила уйти. И я не обиделся, а изобразил обиженного и ушел. И как она меня догнала в этом насквозь мокрым ситцевом сарафанчике и умоляла вернуться... Прожигают боль и стыд...

Размолвка с Зиной. Короткие, пустые, увлеченностью не вызванные свидания с другими девушками-девчатами-дивчинами. Зачем? Зачем целуешь нецелованных? Ты же не из одержимых охотников за юницами. Хорошо хоть, что встреченные милокрасавицы — вне серьезного чувства.

Радость от примиряющей встречи с Зиной. Обещаю, что далее не расстанусь с нею. Но понимаю: обещания — всего лишь слабые слова, незримая подступающая жизнь может смести их, как осенние листики. С недавней поры меня не покидает чувство какой-то неправды, словно во мраке сбился с верного пути. Не читаю, хотя есть и Пушкин, и Лермонтов, и Баратынский. Даже их — не читаю. Думаю поступить в пединститут — по стопам отца. Таким образом воспитать себя? Не поздно ли?

За окнами Криничное — в вербах, в пыли, в силосе...

ПЯТЬ ЛЕТ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ

(Страницы студенческой тетради.
1958–1963)

ЗАГРАНИЧНАЯ ПОЕЗДКА — РУМЫНИЯ

Перед поступлением в Воронежский государственный педагогический институт — поездка в Румынию. «Голубая Румыния, / Голубые Карпаты», как напишу вскоре, вкладывая в эпитет небесный тон, который возникал в Карпатах.

В годы войны (да всего-то шестнадцать лет назад) румынские воинские части, руманешти, объявились в моих родных пределах и, может, позабыв, что они едины в потоке рода человеческого, видели в моих земляках своих врагов. Соответственно и обходились с ними, чаще всего — грубо, надменно, насмехаясь над разрухой донского края. Да и земляки мои не испытывали к ним нежных чувств, словно и не желая знать, что многие из них — такие же как они, крестьяне, горемыки, вовсе не желавшие себя видеть на берегах Дона, да вынужденные сюда прийти по приказу полуфашистской румынской власти.

Брожу, один из воронежцев, по ночному Бухаресту (позже ночные знакомства с незнакомыми городами станут привычным тяготением), наказ руководителя — прогуливаться вдвоем-втроем и неподалеку от гостиницы, никому не велено быть одиноком; я в туристской группе, составленной из разновозрастных славян черноземного града, соединенных с литовцами из Вильнюса и Каунаса. Не очень-то у нас, воронежцев, ладится с этими прибалтийскими товарищами. Пытаюсь понять их неприязнь, но они — как закрытые створки раковин.

Не найдется разве сильной государственной русской личности, которая бы возвысилась над прошлым, даже над нашим тяжелейшим, в Северной войне великих жертв стоившем присоединением Прибалтики, и заявила: карты в руки, радуйтесь сланцам и шпротам, мелководному побережью. Живите своей жизнью!

Взбираемся на одну из вершин Карпат. Водопад бешено устремляется вниз, там разбросаны, как игрушечные, домики под красными черепичными крышами и шумит и пенится речонка. Паровозик останавливается на выровненной площадке близ водопада, и немногие из нас устремляются под его ледяные струи. Паровозик пыхтит, поднимаясь все выше и выше.

Отдых наш — в международном туристическом лагере на берегу Черного моря. Ряды брезентовых палаток с двухъярусными кроватями, песок горячий, не успевающий остыть и за ночь. Немцы, англичане, венгры, чехи, поляки; по первому впечатлению, все здесь — без камня за пазухой, без исторического злопаятства. Именно — по первому впечатлению. Правда, чех, с которым я подружился, сказал мне о немцах: «Начнись война снова — они нас снова подомнут...»

Англичане — холены и по первогляду высокомерны. Поляки — разные. И думаешь, кто нас, Россия, любит? Даже внутри Союза?

Наша споры о фильме «Летят журавли», о советском спутнике Земли. Болгарка с юными жадными глазами просит мой адрес, словно не осознавая, что наша встреча — миг, который никак не скажется на наших судьбах. Нагрянуло и посерьезнее. Кристина, белогвардейская дочь. Понимая, что обоюдная страсть — воплощенная — обернулась бы только болью для нас, сильное чувство мы гасили многоблюдающими рассказами: она — о Франции, я — о крестьянски-полевой России. Проработка меня за увлечение «белогвардейкой» одним идейным, старшим годами воронежцем — и моя дерзость, мол, своих младших братьев воспитывайте в духе политической благонадежности.

Утром седьмого августа пятьдесят восьмого года я, взяв в руки родительский, разные грады и веси повидавший чемодан, легко ступил на перрон вокзала **Воронеж** и пешком направился в педагогический институт.

По договоренности обкома комсомола с ректором — точнее, директором — сочинение писал вместе с абитуриентами факультета физического воспитания, не особенно тянувшимися к литературе, и на фоне их познаний мое сочинение удостоилось высших похвал. И остальные экзамены сдал на отлично.

После вступительной сессии на две недели приехал в Криничное, где вся семья от души радовалась, а отец не преминул пошутить: «Советский Ушинский (думаю, дотянешь до Ушинского) намного важнее, чем какой-нибудь буржуазный письменник — стихотворец или журналист». Отец не стал разъяснять, почему я мог стать именно «буржуазным письменником».

На велосипеде проехал родные места — будто прощался с ними. Побывал в Новой Калитве на Мироновой горе и у донского парома, проехал мимо школы и зашел во внутренний двор школы в Старой Калитве. И конечно, исходил весь Нижний Карабут, взобрался на кручи, долго лежал на затравелой седловине меж Стенками, глядя в небо и ощущая его как вечность — с грустью понимая, что этого простора вечности в городе мне уже не увидеть.

НАЧАЛЬНЫЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ ПУТЬ

1958-й год, первые числа сентября. Еще не успев толком познакомиться, мы отбываем в колхоз. Весь институт — разбуженный улей. Первый курс филфака определяют в село **Синявка** (позже — **Утиное, Козловка, Красное**). Сельское — мне родное, хорошо мною знакомое. С поля возим силос и зерно. В районной газете — мои первые беспомощные стихи.

Возвращаемся через месяц — начинаются лекции.

На квартире нас трое. Виталий Санников, начитанный, образованный, сын учителей старой формации. Юрий Минаков, золотой медалист, гонористый, обо всем рассуждающий, словно выпускник Всемирной универсальной Академии Наук, а не тамбовской десятилетки. С Виталием мы подружились.

Лекция по истории Древнего мира. О походах Александра Македонского. Читает почтенный Антон Федорович Шоков. Внимаю, как и подобает ненабалованному первокурснику. Правда, отвлекаясь несколько раз приходит на память знаменитые слова великого полководца, узнавшего однажды, кажется, от Демокрита о множественности миров во Вселенной и воскликнувшего в горячем возмущении: «О боги, а я не покорил еще и одного!» Думая об Александре, покорителе полумира, спрашиваю себя: какая, в сущности, разница между победителем и побежденным? Человечество — единый пульсирующий комок осознавшей себя материи. Каждый — в каждом. И побеждая кого-то — побеждаешь себя.

Профессор рассказывает о некоей из дымки времен проглянувшей Аспазии — впрочем, полубожественной; а я на узкой подугорной воронежской улочке едва не столкнулся с девушкой, которая милее, нет, прекрасней всяких аспазий, и пока сравнил ее с пепельной птицей или синей кристаллинкой, она куда-то подевалась. А встретились мы в пединституте, и улыбнулись, как давно знакомые, и разговорились...

Серьезное и забавное явление — институт. Кто такие наши наставники? Профессор Тонков в лекционных чтениях так увлекался, что я остыл даже к читаемым им древнерусской литературе и фольклору: он в скверной частушке ухитрялся найти смысла не меньше, чем в роденовском «Мыслителе». Иные мои сокурсники находили его забавным. Профессор Шепелев — занудный и скучный

преподаватель-педант ранней отечественной истории, и мне не раз грустно и благодарно вспоминался сельский учитель-историк. Декан-доцент — причудливое сочетание ума и лукавства, тщеславности и нравственной глухоты. В иное время он, пожалуй, мог быть фискалом, причем придумал бы теорию, по которой ему надо быть фискалом в интересах человечества. Говорю так будучи свидетелем, как он выстаивал под дверьми аудитории, слушая в отсутствие преподавателя наши молодые мятежные дерзости, а потом врвался внутрь, аки барс рычащий, эдакий кнут карающий.

А есть в институте интересные люди (Князев, Латышев, Артеменко, Михайловская, Китина, Кретова), но они — словно бы в тени. Всеворонежски известен преподаватель общественных наук Степан Иосифович Батраченко — слепой, потерявший глаза на Финской — «на той войне незначимой». Умен, интересен, а ко мне и благожелателен директор (почему бы не ректор?) Леонид Николаевич Талов.

С полгода проучась и, как мне казалось, вполне выяснив уровни дающих знания, иные лекции постепенно стал пропускать. Но по большей части снисходительные преподаватели, в беседах со мной выяснив мое общее настроение, не ударились в придирки. А у некоторых, набравшись студенческой нагловатости, я даже умудрялся занимать деньги — пять, десять рублей до стипендии, и милейшие преподаватели русской литературы от века восемнадцатого и девятнадцатого Александра Дмитриевна Китина и Нина Дмитриевна Михайловская с улыбкой и пониманием одаривали банкетной, которую я в день стипендии час в час возвращал.

Против выпивок не всегда удается устоять, скорее — нет охоты устоять. Виталий Санников, а чуть позже и Борис Соколов, считали даже некоей данью декадентской традиции — выпивки по всякому поводу и без повода. Виталий возглашает: «Когда-то были мы богами, а в нашем веке мы богема». Есть и более сильное, зовущее к «зеленому змию» как к некоему протесту против тривиальности омещаненной жизни: «Ты будешь доволен собой и женой, / Своей конституцией куцой, / А вот у поэта — всемирный запой, / И мало ему конституций!»

Борис Соколов неизменно приглашал меня в гости к родным, и мы вечерним поездом по субботам ездили к его гостеприимным родителям в **Семилуки**. Досыта наедались жареной картошки с солеными бочечными огурцами, а затем пускались в прогулки по городу, главной достопримечательностью которого был горячий огнеупорный завод, детище первой советской пятилетки, — как и сам городок, своим названием обязанный соседнему селу Семилуки.

(Позже на окраине Семилук на придонском крутогорье будет воздвигнут памятник летчикам Второй воздушной армии, в годы войны в здешних местах начинавшей боевой путь, а неподалеку начнутся археологические раскопки, которые выявят, по мнению причастных к раскопкам ученых, самый ранний Воронеж — задолго до монгольского нашествия).

Дух мансарды, стиль богемы? В нас растет отрицание. Но взамен старого идеала должен явиться новый, иначе жизнь теряет направление. Мы же чем больше читаем и умничаем, тем больше запутываемся.

Становимся поборниками «научной поэзии», поэт Брюсов вдруг ненадолго становится для нас чуть не вровень с Пушкиным. Чувствуем космические скорости или... печальные и бесчисленные осенне-зимние дожди? Да, уже осень, уже зима.

Все эти полубредовые состояния чем объяснить? Утратой почвы? Подражанием приманчивому декадансу? Наивным социальным протестом. В библиотеке, державно именуемой фундаментальной, началось основательное чтение Достоевского. Это — главное. Хотя и массу всего прочего — от Некрасовского «Современника» до ницшевского «Так говорил Заратустра» — можно было прочитать. Так

что книги — не одни только «Кавалеры Золотой Звезды» да горбатовские «Непокоренные» с павленковским «Счастьем»; и прежде чем трубить-возглашать «Ура!», они побуждают разобраться, имеет ли вообще смысл трубить «Ура!».

В актовом зале педагогического выступают поэты. Гордейчев, Жигулин, Лутков... Иные стихи — крепкие, строгие; во всяком случае, их слова честнее и искренней, а может, не столь актерствующие, как у недавно выступавшего здесь заезжего актера-молодца Олега Табакова, на мой мимолетный взгляд, в пустячном — талантливом, в корневом — притворяющемся пижонистым.

Фонотека на улице Мира. Тесноватая, душная, жесткие наушники, но именно здесь я впервые прослушал (несколько раз) Первый концерт Чайковского, «Реквием» Моцарта, «Гибель богов» Вагнера, романсы Шуберта, многое из Глинки, Бородина, Римского-Корсакова. С удовольствием ставил пластинки с произведениями Верстовского, Калининкова, Рахманинова, еще — Дебюсси, Сен-Санса, Равеля, особенно «Болеро»...

Городской парк культуры и отдыха, носивший в довоенные и послевоенные годы имя Лазаря Кагановича, долго еще после хрущевского ловкого изгона с политической сцены антипартийной группы, в какую определены были некогда первые приближенцы к Сталину (Маленков, Молотов, Каганович), воронежцами обиходно назывался «Кагач». Незаменимый уголок отдыха и людей в годах, и, естественно, молодых. Четверть века назад через парк проходила огнераздельная фронтальная полоса, все еще дававшая о себе знать то полузатравленным окопом, то полузасыпанным рвом, то осквозом в коре дерева, но парк хранил мирное, даже некое патриархальное ощущение начальных лет его жизни. Парни с девушками гуляли до полуночи по низинным аллеям, травяным косогорам с кустарниками и островками былых дубрав — и никаких угроз, хулиганских нападений; во всяком случае, жизнь была менее опасной, чем дальнейшая, — или таковою казалась молодым. Случалось и мне насквозь «прошивать» ночью весь парк — обходилось без приключений.

Зеленый мир, озерцо с тинной водой, скульптура незатейливого былинного богатыря, парашютная вышка, танцплощадка. Последняя являлась уголком, где копилась молодая, сильная страсть, где завязывались встречи и скорые провожания, которые нередко уводили в свадьбы и семейную жизнь.

Духовой оркестр был музыкальным властителем танцплощадки, и надо сказать, что такие оркестры звучали едва не в каждом парке. Парковая культура была и наивно явленной в некоторых гипсовых скульптурах вроде пионера, трубящего в горн, и достаточно высокой — музыкой и песнями, которые содружно поздними летними вечерами доносились с зеленых оазисов в разных концах города: будь то горсад Первомайский, парк Дома офицеров или Строителей или — на месте бывшего Всесвятского кладбища — метко прозванный воронежцами парк живых и мертвых (для краткости — ЖИМ).

Стадион «Динамо». Общеинститутские соревнования по легкой атлетике. Забег на стометровку, где я (восторга или страха ради) пробежал быстрее всех, обогнав даже двух явно спортивного вида парней с факультета физвоспитания. Тренер подошел, спросил: «Хочешь бегать всерьез?» Я отшутился: «Это в каком смысле: догонять или убежать?»

Новогодний праздник в общежитийской комнате. Славная, непорочная девушка из семьи военных, прибывшая в Воронеж из Сахалина, Лена Ткаченкова, которой я, не знаю чем, робко нравился со дня первой сентябрьской встречи. После третьего госта старшекурсники оставляют нас вдвоем; но я один, один на один со своим прошлым, своими тревогами, борьбой с самим собою, и не знаю, как ей об этом сказать; хотя, чувствую, она сама все чувствует-понимает. О чем-то пустяч-

ном мы говорим, чтоб не молчать. Она улыбается мне и, отличница факультета иностранных языков, вдруг грустно прочитывает в подлиннике строфы Байрона. Мой друг недавними днями переводил их, и мне понятен их смысл. Я читаю на немецком знаменитое двустрофие о сосне и пальме. Обоим становится легче. Наши старшекурсники шумно возвращаются с улицы. Повернулось так, что после мы с нею почти не встречались. Только на пятом курсе проговорили вдосталь, уже легко: она освободилась от тиховосторженного чувства.

«ДЕКАДЕНТЫ» ВТОРОГО КУРСА

Подъезжаешь к Воронежу — средь берез вздымается бело-синяя церквушка. Как в «Грачах» у художника Саврасова. Эта церковь Казанской Божией Матери делает местность бесконечно родной, близкой.

Их в мои молодые годы и было-то — всего три действующих церкви на большой город. А в имперские времена — около тридцати, да еще российски чтимые монастыри. Но революционно-атеистический погром и война разрушили под фундамент многие церкви; остальные — без крестов куполов, с выбитыми дверьми и окнами — являли зрелище тягостное.

(Много лет спустя в энциклопедическом издании «Воронеж. Культура и искусство» (2006) писал о том, что в годы своего студенчества и позже я не знал лучших и более грустных «путешествий», как забредать в эти духовные уголки; часами бродил бурными подворьем Алексеево-Акатова монастыря, вокруг восьмигранной звонницы — самой старой кирпичной кладки в Воронеже; часто бывал у приречной Успенской церкви; не однажды входил под своды Введенской церкви, притягиваемый ее благородными формами. И всюду властвовали поругание и запустение, и даже небо, видимое в губительные проломы и пустые глазницы окон, не могло радовать: оно словно бы тоже скорбело над разорением... Разумеется, порушенный храм — не мертвый храм. Даже через века неслышно звонят его колокола, раздаются молитвы верующих, кресты незримо возносятся ввысь).

В ночной Воронеж поднимаюсь с тобою, Люда, ласковая, доверчивая. Мы у самой речки, а над нами воронежские церкви, чудом не разрушенные, — Ильинская, Спасская. А над ними — звезды. Но мы не видим ни церквей, ни звезд. Смеясь и радуясь, я беру тебя на руки и по узкой улочке несу вверх. Ты загадала желание? Снег скрипит под ногами. «В любви любенеющий»? — слова Хлебникова, отражающие подобное состояние.

Или все же — любовь моя ждет лучшей погоды, вернее, свыше назначенного часа?

Да, три воронежские действующие церкви, а было в начале века — около тридцати. То ли глядя на силуэты городских храмов, вдруг подумал о церкви Михаила Архангела в родном Нижнем Карабуте. Подумал с благодарностью, что она сохранилась. Могло же стать так, что, в атеистическое тяжколетье вынужденно оставленная моими земляками, она бы год за годом, медленно саморазрушаясь под дождями и ветрами, сиротски сквозила выломанными дверьми и окнами — или бы под ее сводами разместились тракторная мастерская, химический склад, иная неприглядная кладовка. Нет, на мое счастье, в ней открылась школа, в ней прошли семь моих, может, самых прекрасных искренних лет. Но что с нею будет дальше?

(Когда приехал в родное село позже, узнал, что в ней — детский сад. То есть, к счастью, все — воспитывающее: детский садик, школа, церковь. Тогда мне, может быть, впервые по-настоящему сердечно явится: в этой церкви мои дедушка и бабушка бывали тысячи раз — в духовном доме своем. И они — мой

дедушка, в каждое воскресенье у оконца родной хаты медленно и бережно читавший Евангелие, и бабушка, с кровенно ему внимавшая, — когда-то венчались под сводами возведенной их предками церкви. И это венчание, пусть в скромной церковке, но перед крестом, стало благодатным напутствием на их будущую жизнь, дало прожить до глубокой старости в добре, вере, помощи ближним. И сколько здесь венчалось их, моих молодых земляков-славян, — спасибо церкви за два века духовного служения, спасибо всем, кому она была истинной церковью, а позже — школой и детским садом!)

Словно омут — декаданс и упадочная философия. Засасывает — как болото. Возглашаем: Vanitas vanitatum et omnia vanitas — все есть суета сует, бренность материи. Тогда — quo vadis?

(В начале шестидесятых мне часто выпадало бывать в Усмани, где жили отец и мать моего друга Виталия Санникова. По субботним вечерам пригородный на минуту-другую приостанавливался на станции Усмани, и волна приезжих стремительно выносила нас на перрон. Далее приходилось стремглав мчаться в толпе таких же мчащихся, чтобы на привокзальном пятачке втиснуться в допотопный автобусик — единственный, который подавался к приходу пригородного и которым можно было добраться до городка. Автобус обычно ехал долго, целую вечность, гибельно подпрыгивая на ухабах. К главной площади стекались улицы, еще сохранились на них старые, купеческие, добротные дома. Что было в тех домах? Чувствовалось, что в городке присутствует незримый дух особого, уездно-культурного уклада, но — что за ним?)

В рубленом, из мощных ветел, глыбистом доме жили Санниковы — отец и мать моего друга — Павел Акимович и Клавдия Ивановна. Городок — позже узнаю — любил их: они были учителя, истинно народные интеллигенты, и едва не пол-Усмани училось у них. Были и грядущие знаменитости, как, например, Геннадий Басов, будущий нобелевский лауреат, физик — он учился в первой школе и у преподававшей здесь Клавдии Ивановны был из наиспособнейших и любимых учеников. Павел Акимович до войны директорствовал в педагогическом училище, после войны был завучем в медицинском техникуме, какое-то время работал в Усмани просто учителем. В начале двадцатых он проходил курсы химических, биологических наук в Воронежском университете, к слову сказать, хорошо знал учившегося там же Черенкова, еще одного будущего нобелевского лауреата в области физики; в студенческие вечерние часы их не однажды можно было видеть склоненными над шахматной доской. Павел Акимович являл собою кладезь знаний обо всем — разумеется, и об Усмани тоже. В разговоре какими-нибудь штрихами, сценами, именами, названиями часто выводил на Усмани. Заходила речь о музыке — к месту мог рассказать о певческой капелле Голицыных в Усманском уезде; затевался разговор о шекспировских трагедиях — извлекал из полузабытого имя рожденного на усманской земле выдающегося актера-трагика Россова, глубоко и возвышенно воплотившего шекспировские образы на русской сцене; размышлял о науках — вдруг вспоминал еще одного уроженца Усмани, незаурядного ученого-химика Флавицкого.

Усмани из рассказов учителя виднелась как культурный оазис, не со вчера существующий. И впрямь — уездное училище, открытое еще в 1821 году, реальное училище, женская гимназия... И уже вовсе достопримечательность местной культурной жизни — Усманская общественная библиотека, утроению и успешной деятельности которой немало способствовали писатели Эртель и Засодимский.

Усмани — в немалой степени литературная. Павлу Акимовичу было что рассказать: дружа с проживавшим долгие годы в Усмани в домике у горсада

писателем Завадовским, он встречался и с приезжавшими к нему литературными братьями Новиковым-Прибоем, Ширяевым, Панферовым, был свидетелем и участником их живых бесед о море, земле, коне да и о многом еще, чем жила, чему радовалась и огорчалась родная страна.

Однажды учитель, обычно иронично-мудрый и не сетующий на жизнь, вдруг пожаловался, что Завадовского, писателя замечательного, мало знают; правда, тут же и добавил, что автора «Великой драги» и «Песни седого волка» еще издадут и переиздадут. Тогда мне действительно с трудом удалось раздобыть повести репрессированного писателя. Надежда учителя осталась во мне — как завет, и когда четверть века спустя мне выпало готовить к изданию книжную серию «Отчий край», в ее проспект был включен и сборник произведений Завадовского).

Идет зимняя сессия, мои сокурсницы, бедолажки милые, угорают в читальнях. А меня не отпускают строки Блока:

Кто даст мне жизнь? Потомок дожа,
Купец, рыбак, иль иерей
В грядущем мраке делит ложе
С грядущей матерью моей?

Декаданс прилипчив. Хмелит? Отбивает от традиции, от истинного. Санников перечитал бездну англичан и американцев, кое-что перевел из Шелли, Вордсворта и — пьет. Соколов рисует шаржи в духе «капричос» и — пьет. А может, и не от спиртного пьянеют угарно...

И я накрепко связан интонационной, лексической, содержательной декадентской лентой. Вот строки мои: «Волнующе сникли шелка / Волнующе белых наплечий...» Или: «И скорбен я, как летаргия, / Как литургия, скорбен я...» Или: «Здесь пригубленные бокалы хмелеют, / Здесь погубленные девушки молчат...» Или: «Полюбила меня, не каюсь, / Очарованная, колдуешь, / В тонкий сумрак, смеясь, увлекаешь / И целуешь, целуешь...»

Какое-то биологическое и духовное угнетение, самим собою создаваемое. Не отвращение к жизни (*taedium vitae*), а странное желание инобытия. Или тоска по внемемному родилась в нас раньше, чем родились мы?

Правда, реальность есть и таковая — ахматовская: «Когда б вы знали, из какого сора / Растут стихи...»

У Бодлера читаю: «Любовники пошлого сыты, / Их доля светла и легка; / А руки Икара разбиты — / За дерзость обнять облака». Все так. Хотя тоже, может быть, не бесспорное. Как не бесспорны, но сколь же притягательны строки Рембо, мятежные и колдовские строки, какими наполнен его «Пьяный корабль»: «Я запомнил свечение течений глубинных, / Пляску молний, сплетенную как решето, / Вечера — восхитительней стаи голубиных, / И такое, чего не запомнил никто».

Это нас одаряют древнецарственные Нефертити и Клеопатра своими первыми объятиями, это мы беседуем с Абельяром и Фомой Аквинским о скоротечности человеческого, но не Божественного, это нас, словно сухие поленья, бросают в костер за развенчание ложных весельных доктрин... Мы сидим в затхлой прокуренной комнате на улице Октябрьской Революции, не первый день впроголодь, не в первый раз присылаемые родителями деньги тратя на хмельные, отабаченные ресторанные посиделки. Студиозы, схоляры, краезнатцы.

Мой знакомый говорит об интеллекте как форме чувственности. Я не возражаю: сам его этому зачем-то научил. Он о женщинах говорит так, как словно все они прошли через его страсть, — или, по крайней мере, словно он первым был у Брижит Бардо. Может, и был. Правда, он никуда не выезжал из средней России, да и о самой Брижит едва ли слышал.

А за окнами исходит соками сирень и береза, весенне продолжают жизнь птицы и звери, сгорают звезды, огненными россыпями скатываются к земле, и, по древним поверьям, обрывают чьи-то земные жизни. А вся земля за тысячи лет — под тяжелым биологическим напряжением...

Больше года не видел Зину. Она выходит замуж. Как-то пустынно. И я не утешен даже своей теорией: коль все мы исходим от первого белка, от первых немногих хомо сапиенс — то я предопределен в каждом человеке, и, следовательно, целуя не меня, она целует все-таки меня...

Друг подумал вот о чем. Родное поле, которое я вспахивал, бороновал и засеивал, совсем близкое — уже и бесконечно далеко. Хорошо хоть, что моя жизнь протекает в Воронеже — городе до поры до времени традиционном. Окажись я в западноевропейском Париже-Лондоне или каком-нибудь заокеанском развлекательном Лас-Вегасе, смог бы ли я противиться потоку всякого рода соблазнов — авангардистских, художественно-антихудожественных, игровых, половых и прочая?

«Поругивают философов и поэтов. Смотря за что. Если за мятущийся поиск нового, за отрицание гранитно-догматического — то я больше француз, чем сами французы. Мне чужда статичность в поэзии и искусстве, я за обостренную динамику, многоцветье, неожиданность — за Ван Гога, за импрессионистов и футуристов, за малевичевского “Точильщика”, за “Красного коня” Петрова-Водкина...»

(Так писал я на раннем курсе. Позже, прочитав о поисках нового в литературе и искусстве на Западе, обнаружил, что и мой поиск интуитивно шел в том же направлении. Должно быть, право писателей на поиски — честные поиски. Убежден, что малоизвестные искатели не менее чутки к добру и злу, не менее гражданственны, чем привластные трубачи, и гражданские вопросы они стараются выразить палитрой остропсихоинтеллектуальной, соответствующей ядерной современности. Тогда же, на раннем курсе, я разрабатывал свой способ письма — сенс-комбинационный поток, последовательные чувства и впечатления дающий в одновременности.)

Между тем я и мои друзья не торопились на сцену размахивать руками и декламировать свои стихи, хотя новое время требовало новых имен, рукоплеканий, больших дискуссионных аудиторий. Но однажды мы «вышли на люди» своеобразным образом. Десятилетиями позже не без грустной улыбки я прочитал об этом в опубликованных воспоминаниях Виктора Костенко, автора хороших книг о военном и послевоенном Воронеже, — воспоминаниях, временно и меня возвративших в былое: «Буквально за несколько дней пришлось из суровых армейских буден попасть в веселую студенческую среду Воронежского пединститута. Сдав вступительные экзамены, с сотнями мне подобных счастливчиков я ехал в студенческом поезде в Калачеевский район на уборку картофеля. Вот там-то, на калачеевских полях, на “ударных картофельных грядках” мы встретились с Виктором Будаковым... Как-то так само собой получилось, что Виктор стал своеобразным центром и душой нашего небольшого сообщества — пишущих стихи студентов. Наше смелый полиглот Виталий Санников, прямодушный Борис Соколов, раздумчивый и неторопливый в суждениях Иван Расторгуев... Мы пробовали свои голоса... радовались творческим находкам и пытались печататься в областных и районных газетах. Вот тогда-то душа нашей компании Виктор Будаков и предложил: “Друзья, а не создать ли нам что-то вроде поэтического альманаха?” Мы, как это бывает у студентов, с восторгом согласились и здесь же, в одной из аудиторий нашего историко-филологического фа-

культета, принялись за дело. Кто-то печатал строки наших стихов, кто-то редактировал, кто-то придумывал шапку и заголовки. Название альманаху дали туманное и двусмысленное: "Почитайте нас!" А утром пединститут гудел как встревоженный улей. Еще бы! Вся стена напротив деканата была оклеена нашими стихами, и лучшие вузовские умы, профессора, аспиранты и студенты толпились около нее, вчитываясь в стихи, комментируя и критикуя их. А мы, гордые и смущенные, держались несколько в сторонке, радуясь успеху, вниманию самых уважаемых в институте людей и факультетских красавиц.

Ах, эти шестидесятые, лучезарные, беспечные, полные надежд и мечтаний годы! Мы вышли из них, из той студенческой круговерти, формировавшей наши умы, быть может, слишком торопливо и щедро...»)

Перед моими глазами — фотография филологической половины нашего смешанного курса, на оборотной стороне снимка старательным девичьим почерком — шутовская надпись: «И один в поле воин». Сверстники с курса ушли в историки, Эдуард Баранников, мой старший друг-товарищ, второй добрый муж решительно не мужской группы, вовсе оставил институт, и я, действительно, один в окружении двадцати семи сокурсниц. Сколь ни заманчиво-поэтично находиться в таком цветнике граций — будущих филологинь, все же для меня существует здесь заметное неудобство: отсутствие на лекциях (а отсутствовать случается часто) сразу бросается в глаза, и иные преподаватели обещают в мой адрес особое благорасположение на экзамене. В сессии приходится дни и ночи напролет просматривать горы книг, пухлые тетради сокурсниц с записями лекций, так что на экранах обычно все разрешается вполне приемлемым образом. Хотя — и не без озорного, расплатного. Даже двойку схлопотал. По глупости и самонадеянности, как бывает в таких случаях. После крепко отпразднованного дня рождения — весьма дружеской вечеринки, до утра затянувшейся, с угарной головной болью отважился идти на курсовой экзамен по русскому (был диктант). Диктант написан с тьмою ошибок; снова лето омраченное, в подготовке к передаче диктанта; и, как далекий свет, зовут сполна не прочитанные Пушкин, Баратынский, Достоевский.

Лето шестидесятого. Поездка в Ленинград. Белые ночи. Петропавловская крепость. Эрмитаж. Русский музей. Александро-Невская лавра. Могилы Достоевского, Карамзина, Римского-Корсакова... Одна из самых пышно-помпезных — министру финансов Витте: о человеческое тщеславие! Волково кладбище. «Литераторские мостки». Уже вечереет. Могила Блока, а рядом какого-то Штольца. Но почему — какого-то? Ведь и он человеческая вселенная. И вдруг — мысль: здесь у великих могил поцеловать любимую девушку и умереть. С первым еще можно согласиться, но зачем же умирать?

Гачина. Дворец и пруды. А еще — долго брожу по Петродворцу, не понимая, трогает ли он меня. Слишком он какой-то версальский, нерусский.

Летние каникулы провожу в Криничном, редко заезжая в Нижний Карабут, где все — родное и все — словом бы чужое. Чужое не по душе, а по юридической бумаге: семья из села полностью выписана. Отчий угол перешел в другие руки, вернее, его истаптывают другие ноги. Разумеется, ярки-овраги, подступающие к верхнему огороду, никуда не делись, как и колодец у ограды семейного сада, но на подворье нет сокровенной хатки детства (на ее месте поднялся добротный чужой дом); нет и надворных послевоенных художественных под единой соломенной крышей, куда я в отрочестве взлетал, применяя шест, словно готовясь к прыжкам в высоту на некоем серьезном первенстве; нет и спортивной площадки, где я толкал великое множество раз двухпудовку, на перекла-

дине крутил «солнце», а на осокоревом комле играл в шахматы с моими сверстниками-друзьями. И многого оставленного, другим не нужного. Где все это: осколки, снарядные гильзы, штыки, палки-копья, глиняные ковшки и кувшины? А яблоня, черноклен, вязы, ясени, еще в раннем детстве посаженные мной на заднем палисаднике, бережно поливаемые и с годами на глазах подраставшие, где они? Вырублено, выброшено за ненадобностью новыми хозяевами, по-соседски знакомыми мне с детства. Знакомые люди — изменяющаяся, незнакомая жизнь.

Как ожидали мы того дня, когда и в Воронеже появится троллейбус, ставший уже привычным в столице и крупнейших городах страны! И вот шестого ноября 1960 года троллейбусы покатали по главной улице города, где еще недавно центровую полосу улицы занимала трамвайная рельсовая четырехструнка. Первыми пассажирами троллейбуса стали строители и юные жители города — ученики воронежских школ.

(Трамваи, ничуть не мешая троллейбусам, имея почтенную летопись и разветвленную карту движений, охватывавшую самые дальние концы города, продолжали ходить, весело позванивая на поворотах и перед остановками, в дождь осыпая все вокруг зелеными искрами. Была в них не только житейская нужда, но и поэзия, недаром столько стихов о трамвае найдешь в отечественной поэтической строке! И недаром крупнейшие города мира и поныне не отказываются от них. В европейских столицах они мягко погрывают и радуют. А у нас — как одна из гримас перестройки-постперестройки — вывороченные трамвайные рельсы для темных продаж, добротные трамваи, изломанные, пущенные на металлолом. И даже с музеем трамвая нас постигла неудача: на городской комиссии по историко-культурному наследию мы долго обсуждали, как оставить будущим воронежцам трамвай хотя бы как музей, подыскали и место на эстакаде Северного моста, где еще сохранились трамвайные пути. Но поскольку нигде не предусматривались средства, чтобы охранять предполагаемый трамвай-музей, и его попросту ждал бы удел злачного угла, от музейной затеи пришлось отказаться).

А что в стране и мире в том шестидесятом? «Год Африки» — за год в Африке образовалось семнадцать независимых государств! Каковы в реальности эти государства, будет ли мир между ними, едины ли они в отношении к Европе и Америке, отнюдь, думаю, не восторженном, что нам Африка готовит через полвека, через век?

Наш первый секретарь Никита Сергеевич мобилен: поездки-визиты в Индию, Бирму, Индонезию, Францию. Над Уралом сбит ракетой американский самолет-разведчик, его пилотировал летчик Пауэрс, эдакий любопытствующий турист, до поры до времени внимательно разглядывавший и фотографировавший великие просторы Союза и схлопотавший за шпионские увлекательные службы зарешеченный срок. А наш первый секретарь, на ракетном эсминце прибыв в Нью-Йорк, на Генеральной Ассамблее ополчается по полной на западных капиталистов-колониалистов, в ход идет даже «туфельный» эпатаж: Хрущев при выступлении английского премьера Макмиллана применил новаторский политический прием — стучал обувью по столу, заглушая выступавшего.

А с Китаем — не знаю, насколько разумны и дальновидны наши шаги, но, думаю, ничего хорошего, коль из Поднебесной отзываются все советские специалисты, а в заявлении КПСС осуждается «догматизм» Мао Цзедуна. Между тем всемирные коммунистические совещания в Москве проводятся, и там якобы единомышленники и уверенность сплоченных.

ГАГАРИНСКИЙ ВЗЛЕТ, ВЕСНА В ПРИРОДЕ И СТРАНЕ

Осенний диктант я написал сносно, так что студенческое бытие продолжается: лекции, семинары, экзамены...

Нередкая пустота проходящих недель. Однажды перед сном задумался: чем я занял сегодняшний день? Была встреча с актером — необязательная; взял в руки книгу (что за книга?) — слабая, полистал-полистал и отложил; лекция — пропущенная. Принялся за курсовую «О языке районных газет» — зачем мне эта тема? Газетный, журналистский язык — одна из угроз русскому языку? Может быть, но не из самых губительных. Те — впереди.

Еще, видать, не знаю настоящей любви — любви к единственной из необозримого цветника девушек. Тогда зачем свидания, отнимающие часы и дни жизни, которая, верно же, Богом, природой, отцом и матерью данная для чего-то главного моего, важного и для других?

Но вот... Родной институт, фойе актового зала. Студенческий вечер даже не историко-филологического факультета, а географического. Пробираясь через карусель танцующих, заметил тоненькую, вдохновенной обаятельности девушку в дальнем углу обширного, со строем пилонов коридора-фойе, расширенного напротив стены актового зала выходом к большим фасадным окнам. Я подошел, отвесил ей какую-то комплиментарную банальность, кружил и кружил вальс, я ей по-медвежьи отдалил ноги, был непривычно неуклюж. И как короткое озарение из будущего — сразу почувствовал, что она моя судьба, нареченная именем Элла, которое я тут же видоизменил в полдюжины иных, более нежных или исторически звучных: Эллада, Лученька, Лученышка, Листонька, Тростинка, Веточка, Ветлинка... А она? Она тихо и беззаветно-доверчиво пошла со мной в темь по улице Садовой, где на квартире я взял плащ проводить ее. Стоял март 1961 года. Мы шли через весь город — через железнодорожные пути, слыша и не слыша гудки и пыхтенье маневровых локомотивов, мимо костела (*который позже разрушат: антирелигиозный натиск «Никиты-атеиста»?*) — мимо жилой многоэтажной башни у парка живых и мертвых...

Я возвращался назад, благодарный студенческому вечеру, педагогическому институту, простенку знакомства у большого фасадного окна, равнодушно взиравшего на движение длинной, от окраины к центру протяженной улицы.

(Полвека спустя. Приглашенный на встречу в пединститут, проходя мимо актового зала, я подойду к простенку юности, уголку нашего счастливого знакомства, и увижу большой стенд о родном крае. Фотографии сопровождалась стихами. Я начал осматривать не с начальной, а с завершающей стороны, под фотографиями шли стихи Никитина, Гордейчева, Жигулина, а на начальной доске стенда благодарные библиотечные сотрудники поместили целых три моих стиха о Воронеже. Выпускнику и почетному профессору педагогического университета, мне ничего не оставалось, как грустно улыбнуться, мысленно видя перед глазами на месте импозантного стенда первый миг нашей с Эллой невозвратимой встречи).

Небывзлетающий и, надеюсь, никогда не забываемый (если не миром, то русской памятью) апрель 1961 года. Космический взлет Гагарина! Один небесный виток вокруг Земли на космическом корабле «Восток», один виток — миллионы надежд, тревог, сомнений, упований и... опасных развитий мирового межлагерного соперничества.

Как не пережить заново тот двенадцатый апрельский день! «Говорят все радио-

станции Советского Союза!» Ликовала страна, цвел радостными улыбочками Воронеж, естественно, ликовал и мой родной педагогический институт. Начался торжественный митинг, и никого не надо было понуждать к присутствию на том студенчески-преподавательском «собрании»: сошлись в едином порыве наши радости, гордости, великие надежды.

В просторной, больше на актовый зал похожей аудитории вместился едва не весь историко-филологический факультет. От студенчества выступал я, не без волнения, не без пафосной воодушевленности произносил что-то высокое о Родине, прошедшей в трудах, жертвах и подвигах долгий путь, о поступи нашего Отечества, о судьбе России — не только о ее трагически-горьком и великославном прошлом, но и о вере в ее будущее. «Какие ж сны тебе, Россия, какие бури суждены?» — как тут было не вспомнить блоковские строки! Говорил о ее взлете и, сказав по правде, тогда не мог думать о ее будущих потерях — таким упрощенно-радостным, даже ликующим было общее настроение.

Еще не осознавая полета в космос как духовной проблемы (внебожественное техногенное устремление!), мы радовались и тому, что человек преодолел земное притяжение, и тому, что этот человек был наш соотечественник — русский.

Когда в то же лето над Воронежем развернется небо и по городу не горошинами, а ледяными ядрами ударит град — ранит прохожих, повыбивает стекла жилых массивов, продырявит крыши зданий; многие из еще помнивших православное служение в десятках воронежских церквей воспримут это как наказание Божие за дерзкий космический взлет. Но мы были молоды и в Дворцах культуры появлялись гораздо чаще, нежели под церковными сводами. Да, мы были молоды, и молодую, навечно сильною мнилась страна. И мнилось, что мы сможем много доброго, красивого и умного свершить на нашей земле.

Новогодний выпускной бал Эллы в краснокирпичном здании кафедры мединститута. Там в революционные годы располагался клуб «Железное перо», где молодой пересоздатель Вселенной, поэт, публицист, не за горами автор «Ямской слободы» Андрей Платонов бывал не раз.

Какое это, наверное, счастье, если бы не был противоречив: раздвоен, раздесатерен! И во многом. Элла воспринимается моим сердцем как судьба, но это не препятствует мне обращать внимание и на иную молодость.

Тополовая (нежданная-негаданная) встреча с юной В. на берегу Дона, плавание за лилиями на противоположный берег. Дождь и молнии у старого тополя. Гроза — словно напоминание о моем грехе двойности, многоякости. А двойность в жизненных поступках требует и философских обоснований — возможность двоякодопустимого истолкования чего-либо. Входит в привычку смотреть на событие, на человека со множества сторон. Выходит — множество истин. (Амбивалентность, толерантность, релятивизм — что-то лукавое несут эти ученые слова). А в жизни одних спасает относительность, других — непреложность.

Летняя практика в пионерском лагере. Близкая к Воронежу Дубовка — целая гнездовина пионерских лагерей. Меж дубов и сосен — десятки лагерных (в хорошем смысле) строений. Сотни и сотни детишек. Их детство отделено от моего детства всего-то десятком лет, а — будто столетием: иное развитие, иные интересы, иные песни. Да, «Куба — любовь моя...» Дети хороши, почти все — со светлыми, озорными глазами. У девочек и у мальчиков — разные миры, да и каждый мальчик или девочка — разные, поскольку разные у них семьи, улицы, друзья и подружки; а разная им предназначенная судьба проявляется уже здесь, в лагере, который за малые недели пытается образовать из них нечто единое.

Мне нравилось наблюдать их эмоциональные порывы, проявляемые душевные

черты, взрослеющие характеры; они мне, пионервожатому, почти не доставляли хлопот — разве что хулиганистый мальчик Костя из Отрожки выбивался из строя, явно тяготился коллективными песнями, чтениями книг и спортивными занятиями и постоянно затевал ссоры со сверстниками, то и дело просто так, беспричинно, от какой-то внутренней злости толкая девочек. Резкие отчитки, едва не ежечасно исторгаемые опытной воспитательницей Марией Михайловной Песковой, мало вразумляли сорванца, так что через неделю она по договоренности с директором лагеря решила поступить с малолетним возмутителем спокойствия простым приемом: велела мне отвезти Костю в Отрожку и сдать его на руки матери, благо путь был недалеким. Когда я увидел барачного вида приземистое здание — и далее, когда открыл дверь и увидел изо всех углов выглядывавшую нищету, — мне стало не по себе. От скамьи у дальней стены на меня вперились испуганные глаза — четыре испуганных глаза. То были Костины мать и старшая сестра. Выслушав мое сбивчивое объяснение, мать стала просить за сына: в пионерском лагере он поест досыта, чему-то доброму научится, а дома — гляди, втянется в воровскую шайку. Помня строгий наказ, повторил волю лагерного начальства. И вдруг мать разрыдалась. И тогда я сказал: «Ладно, попробуем еще раз», крепко взял за руку приговоренного к изгнанию, и пошли мы на платформу дожидаться первого пригородного. Когда возвратились в лагерь, воспитательница возмутилась, отбила меня, как следует, и направились мы с нею к директору лагеря. Реакция последнего оказалась более мягкой: «За две недели мы его, конечно, не воспитаем, но что-то хорошее, может, сумеем ему дать».

А так — веселая детская разноголосица, щебетанье птиц, пологи лесных крон и солнечные поляны...

(И только через тридцать лет я узнаю горестную, травами и официальным забвением скрытую явь внешне благодатного приворонежского уголка: не столь далеко от нашего пионерского лагеря до войны был устроен последний приют для «врагов народа» — и никогда до конца не узнать, скольких и кого приняла та братская могила...

Дубовка

«Как долго до братской могилы?» —

«Вполсилы добраться за час...»

Здесь метко стреляли и многих сгубили —

И, может быть, многих из нас.

Несчастных людей сосчитать ли останки?

Узнай, кто здесь был или есть, —

Священник? Крестьянский обоз? Гувернантка?

Иль воин? Убитая честь!)

Сердце бьется, может, тише раненой чайки. Радуюсь и сокрушаясь, идут люди по жизни. Я желаю им: счастливого пути! Но куда? Уходя в далекое, мы теряем близкое. Приобретая себя — мы и утрачиваем себя.

В двадцать лет у молодого — рукопись и сильное здоровье. Так мало и так много? В тридцать лет он печатается — утверждает себя. В сорок лет к нему приходит обеспеченность, мудрое или псевдомудрое знание жизни. В пятьдесят или шестьдесят лет, пусть даже — в семьдесят пять, ему устраивают торжественное юбилейное чествование, и опьяненно, на миг как бы вырвавшись из-под власти природы, человек мечтает: сколько я еще должен сделать, сколько я должен сказать живущим и ушедшим!

Через полгода он или погибает от нелепой случайности, или же умирает от неизлечимой болезни, ростки пустившей еще в молодости.

А что в мире? В начале лета 1961 года в Вене встречаются Кеннеди и Хрущев. Последний предлагает провести конференцию — заключить мирный договор с

Германией и объявить Берлин свободным городом. Говорят о разоружении и прекращении ядерных испытаний. Американская сторона отвергает советские предложения. Идут дни, идут месяцы и годы — на обоих полушариях много утопического и много жестко-реального. Советские коммунисты, наверное, не без напора первого секретаря, на двадцать втором съезде обещают стране построить коммунизм к 1980 году. Куда быстрее, за сутки, восточными немцами возведена Берлинская стена — чтобы не было соблазна уходить к западным соотечественникам, живущим под сенью успешного капитала. Разъединение, отторжение, противоборство меж лагерями. Соединяют мосты, но никак не стены.

РОССИЯ, РУССКОЕ СЛОВО, РУССКИЙ МИР

Четвертый год учусь в институте. Иногда возникает чувство, что надо уходить из оного. Быть может, в деревню. К людям несуетным и без суеты. Жить просто и попроще.

По осени нас, студентов, направляют помогать колхозам — строить, грузить, помогать на хлебных и свекловичных полях. Только в деревне ощущаешь себя, свой пульс. Удаляясь от беготни и толкотни, от снобизма и цинизма, от косности под флером модерности...

Солнечный осенний день, поле, спелая пшеница. И — случай нелепый, осадок крайне неприятный. Возили пшеницу с поля на зерноток, мой товарищ и водитель ГАЗона задумали насыпать мешок зерна и сбросить в посадке, чтобы вечером доставить соседу, пообещавшему бутылку белоголовой. Машина остановилась, они взобрались на кузов и торопливо принялись в мешок насыпать зерно. Словно кем-то невидимым вытолкнутый из кабины, я зашагал прочь. В полукилометре по главной дороге проезжала председателева «Волга». На миг приостановилась. А вечером председатель при студенческих активистах почем зря честил и кладовщика, и механика, и всех подряд водителей — думаю, так бы поступил и мой отец-председатель, разве что без мата. А я не находил себе места. Каким-то образом связались осьмушка хлеба блокадного города и этот центнеровый мешок для хрюшек, увенчанный бутылкой водки.

Длинные ряды покосившихся соломенных хат. У колодца вороньим крылом чернеет очередь женщин. И все они потеряли на войне своих мужей. И плакать им некогда: день и ночь они гнутся на колхозной страде, за которую ни рубля — ни копейки не получают.

А на дворе весна. Я в лес сейчас уйду, и березы меня напоят благодатным соком... да и Троица скоро, по дворам и в хатах набросают черноклена, и будет светлокленно...

Но надвигаются в глаза длинные ряды покосившихся соломенных хат, длинные ряды покосившихся скорбных женщин. И черная беда не проходит, и вороны над колодцами грай... Так начиналась во мне Россия.

Моя жестокая, моя покорная, моя несчастная, моя прекрасная Россия?

Горящие восточно-ордынские кони попирают твои колокольни. И поляки тебя, белокаменную, не прочь изгубить. И всеевропейские колководцы и политики — шведский король, французский император, немецкий фюрер — обрушивают на тебя военные силы. Готовы сжить со свету финансовые и политические воротилы Северной Америки и европейского Альбиона. А внутри России — сколько всходов розни, вражды, ненависти русских к... русским!

Как тяжко давят имена.

И нас растили иль растлили?

Прости меня, прости меня,

Прости меня, моя Россия!..

Об России злословят, воспринимая ее поверхностно, с нею в недобрый час поступают по-черному, но сама она остается чистой. И не на нее совести навязанные ей заблуждения, жестокости, несправедливости. Простим Европе, прости, Европа!

Я русский с начальными словами младенчества — малороссийскими, украинскими. Русский — сердцем, душою, эмоционально и духовно. Но, разумеется, не русско-тоннельный. Скорее всего, надеюсь, чутко-народный. Народлюб. Всенародлюб. Мое убеждение: племена и народности тянутся к доброму, горнему; а дурные особи есть в каждом роду-племени, и, к сожалению, национальные и мировые правящие верхушки складываются в значительной степени из таких особей-временщиков, и наглость, доктерасталкивание, лицемерие, ложь, сытая любовь к себе и равнодушие к другим — их отличительные черты.

Разумеется, как и во всем человечестве, во мне перемешались крови всякие: древнерусские кровеносные жилы (великорусские, малороссийские, белорусские), еще — греческие, может быть, и татарские.

У меня восточная раскосость глаз, но... Когда в обольщении уповают на Восток, тоскливо, дымно является Русь времен восточных нашествий. И древнейшие философии, и бумага, чтобы освящать море многоцветных тираний? И порох — чтобы подтверждать власть деспотическую?

Россия — пророческий синтез Азии и Европы. Она на стыке западного и восточного интеллекта, восточной властности и западной свободы личности. Достоевский утверждал мессианскую роль православного русского народа. Быть может, он близок к правде в своем утверждении, если рассматривать народ не в смысле качественных отличий от других, а в смысле исторического, подчас иррационального хода, может, свыше данного течения событий, необходимостей, причин и следствий.

Не могут не восхищать памятники старины. Пусть даже радуют небоскребы, но не хотел бы, чтобы они поднимались на месте деревянных теремов, как то случилось в Москве. Хотя нельзя одновременно иметь то, что есть, и то, что было.

Со смешанным чувством отношусь к тому энтузиазму, который занялся в нас по выходе первого человека в космос — русского. Вспоминаю свою искреннюю институтскую речь, после шутил: хоть в космос — лишь бы подальше от земной гордыни.

Тяжелое заблуждение о России продолжается. Исторический прогресс сбросит ли его догмы, а там — другие заблуждения и лукавства...

Россия — это новгородское вече и церкви владимирские, ярославские, Ростова и Суздаля, Новгорода Великого и Пскова, это Александр Невский и река Непрядва, это блокадный Ленинград и несломленный Сталинград, это великие победы и поражения, жертвы и подвиги. Это колосющаяся убывающая нива, зато прибывающие бездуховные небоскребы. Наконец Россия — это я и сотни, тысячи таких как я, которые любят тебя, болят тобою, верят в тебя!

Живо ощущаю в себе расположение и к древним — грекам, персам, римлянам, — и к молодым нациям — сербам, французам, итальянцам... Если бы я был немцем, я все равно уважал бы Россию и ее народ, как уважали их Томас Манн, Рильке, Стефан Цвейг...

Поляки, думая о своем отечестве, шли в атаки против испанцев в их отечестве. Толстой говорил, что он всегда испытывает невольную боль при поражении русских.

«Слово о полку Игореве» глубже, поэтичнее, нежели «Песнь о Роланде», «Песнь о моем Сиде», выше иных эпосов и настолько содержательное и художественное, что действительно иногда на миг засомневаешься, в двенадцатом ли веке оно написано. И все же скептики не убеждают. Как всегда, здесь веришь Пушкину, пусть и обманувшемуся мистификацией Мериме — его сербскими песнями. Но он, наш

вечный гений, — поэт глубочайший, неповторимо проницательный — едва ли мог ошибаться, полагая, что в восемнадцатом веке (якобы веке написания «Слова...») не было такой творческой силы поэта, который бы мог создать этот дивный перл, «благоуханный цветок».

А какие глубинные светлы излучают русские былины, песни, поэтическая ветвь отечественного слова! В третьем классе я прочитал маленький томик стихотворений Лермонтова — с него и началась моя тяга к поэзии. Для меня стихотворения «Дубовый листок оторвался от ветки родимой», «Когда волнуется желтеющая нива», «Выхожу один я на дорогу» навсегда останутся прекраснейшими. А Баратынский? А Тютчев? А Некрасов? Блок? И конечно, всегда Пушкин!

Крамской — это «Христос в пустыне». Но мне неизменно тяжело становится, как словно сам я Крамской, когда вглядываюсь в его «Хохот». Самое грустное, если искренне написанное художником в конечном итоге оказывается художественно неистинным. Но здесь конечный итог — иной меры, трагической: художник, переживший своих сыновей, падает замертво у своего мольберта. Честная подвижническая жизнь ранимо честного художника.

Что дает право на писание? Ищущий талант, неотделимый от совести; от совести — крестной матери нравственного и эстетического стыда. Иначе всякое писание — пустое занятие, а то и грех. Об этом часто думаю... «Преступление и наказание» тревожит меня странно: словно чувствую себя родственником Раскольникову. О род мой — всемирный!

Редко захватывает тоска по Третьяковской галерее с великими картинами, по Ленинской библиотеке с великими книгами. Я бы послушал, как умные говорят о безумии... Хотя они также ничего не знают, но мысли их — в поиске. А я осужден на бесплодное болтанье со снобами, полагающими, что именно они со своими словесными извержениями, служебными креслами и спальнями определяют век двадцатый.

Во мне томится тоска, быть может, по Франции, где интеллект перерос самого себя, а тонкости — многообразные: художественные, философские, парфюмерные. Только Франция — все же иное, чем эти тонкости, и главное в ней не романы Дюма с его картинными мушкетерами, и даже не сильные страницы Стендаля, Бальзака, Флобера, Гюго, и не словесно-философские открытия Бергсона, Пруста, Сартра, а крестьяне — герои Аустерлица и Ватерлоо, загубленные полководческим честолюбием Наполеона.

А сильнее иного — тоска по деревенским соломенным хатам, по травам, сохнувшим от солнца, по осинам и березам в трех верстах от Нижнего Карабута. Но, наверное, долго мне еще жить в пыльном заасфальтированном Воронеже...

Искусство — это болезнь? Гений — это болезнь, утверждает Томас Манн. И он, и Стефан Цвейг настаивают на неких демонических неотвратимостях в творчестве. Сказывают, существуют даже энциклопедии о гениальных сумасшедших, не могущих углядеть вокруг себя и в себе ни грана гармонии, отчего их слово, кисть, нота являют разрушительные свойства. Но в какой мере они гениальны и в какой — исполнители демонического, сумасшедшие, самоубийцы, скорбные тени? Гейдерлин, Клейст, Ницше...

Миропорядок мрачен, как Гоголь, сжигающий в камине свои рукописи. Или то было просветление? Или ему казалось просветлением — освобождением от неверного слова?

«В Китае я бы отлично писал», — то ли в шутку, то ли всерьез говорил Достоевский. Он и в России писал неповторимо — для всего человечества, а вот куда поселить бесчисленных стихотворцев, чтобы они получше писали или вовсе перестали ощущать тягу к графоманским опусам?

Просматриваю сборники поэтов — молодых. Много пустоты. Случайные люди возле печатной буквы. «Стихи к луне и деве кончились навсегда», — еще когда заверял Валериан Майков. Нет, не кончились они. Пролистать нынешних стихотворцев — всякой всячины с избытком, а боли нет. Малодушно и малодуховно... Мелкое фрондерство. Часто шумят об океанах, а сами любят аквариумы с золотыми рыбками. Шумят про бури на море, а их строки-претензии — бури в стакане воды. И непременные фениксы, прекрасные в сказке, в строках стихотворцев столь часто используются, что, право, сказочным птицам уже никогда не возродиться из пепла. Фениксы, фикусы, фокусы... Еще сомнительнее строки внеприродные — сконструированные, авангардные.

Ты не дорожишь собою, Россия! Рерих, Алексин, Бунин, Шмелев, Рахманинов, Сикорский, Зворыкин, Стравинский... Видимые и невидимые, знаменитые и безвестные твои гении разбрелись по всему миру, по всему белу свету.

Много лучшей России ушло от России — это полуроссиянскими сделало континенты. Трудно осудить ушедших и трудно их не судить, и здесь мне больше всего понятен и, быть может, больше всего не понятен Блок. Поэт, каждому движению которого веришь. Недавно Эренбург высказался о двух видах эмиграции: об эмигранте Герцене и об эмигранте Бунине. Но есть еще внутренняя эмиграция. И как не вспоминать Блока — он ничем сердечным, духовным не поступился, он остался в России: властодержатели, властозахватчики и их доктрины проходят, а Россия остается.

И на перины пуховые
В тяжелом завалиться сне...
Да, и такой, моя Россия,
Ты всех краев дороже мне.

Блок, несмотря на свои туманы и символы, весь светится. Его образ, муза и жизнь сказались на моем духовном становлении, если таковое происходит.

Стихи декадентов долго воздействовали на мое настроение:

И странно полюбил я мглу противоречий,
И жадно стал искать сплетений роковых...

Может, от декадентов недалеко и до мускадентов... Зачем Зинаида Гиппиус слала проклятия Александру Блоку? Да, «Двенадцать»... но какое трагическое восприятие мира! Да и судьба — трагическая.

Каждое студенческое лето провожу в Криничном. Большое село двухвековой давности, просторный яр, на лугу вербы, криницы, левады: русски-малороссийский мир. Окрестности — меловые косогоры, заросшие цветотравьем овраги, стойкие запахи чабреца, душицы, полыни. Тучные черноземные поля ярко желтеют подсолнухами, поспевающими пшеничными, ячменными нивами. Часто бываю в полях, которые не столь давно возделывал. Чувство слитности с окрестным, с обземлемым всеземным полем и... космосом.

Скомканный, в преддверии пятого курса, летний день. Понадобился паспорт, сунул руку в карман пиджака, а паспорта там нет. Вывернул все карманы — всякая всячина; перетряс студенческий чемодан — увы! Перерыл полдома криничанского — паспорт как в воду канул. Понятно, что свидетельство личности — не сама личность, бумажка всего лишь... Но неделю-две жил с неприятным ощущением. Незадолго до утери услышал тяжелую историю — о том, как один подонок в парке-леске на окраине райгородка изнасиловал и изувечил девушку и оставил на месте злодейства чужой документ — охотничий билет; так владельца охотничьего билета, невинного человека, долго мытарили, покуда добрались до истины.

А тут — главный документ. Гербовый. Друг его подберет очередной подонок-наильник и вздумает распорядиться им самым гнусным образом.

Осенью на районной комиссии пожурили меня, спросили, не во глубоком ли хмелю потерял паспорт. Отделался тремя рублями штрафа и заполучил новый «молоткастый, серпастый». А через несколько месяцев обнаружился и старый — с пограничными метинами о поездке в Румынию. Он спокойно лежал в книжном шкафу — надо же! — в часто перечитываемом романе «Преступление и наказание».

Все студенческие лета навещаю села и деревни моего детства и ранней юности: Нижний Карабут, Кулаковку, Старую Калитву, Новую Калитву — придонские, правобережные. Да еще забредаю в угасающие, но пока живые хуторки: Топило, Духовое, Солонцы, Крещатник, Зеленый Яр.

В Новой Калитве — отцово председательствование. Огромный колхоз «Завет Ленина» — тысячи и тысячи десятин земли, луга, лога, села, деревни, хутора: еще недавно райцентр Новая Калитва, далее Ивановка, Голубая Криница, Новая Мельница, Зеленый Яр, Комарово, Липово, Андреевское...

В Старой Калитве — сады в Тупке, их и по лету видишь розово-белыми, кипенно-белыми, как в ранней юности. Яблоки юности и полуразрушенная колокольня здешней Успенской церкви. Грустно...

Час на малой родине, единящий трудовое-бытовое и некое философское: на леваде у друга Валеры Горемыкина роем малый колодец, «копанку», и, когда она достигает нашего роста, тихими струйками, а потом все сильнее начинают бить родники, леденящая вода сводит до судорог в сандалиии обутые ноги. Отворенные родники на левадах, вечные родники у самого берега Дона! Они не перестают подпитывать своими водами великую реку. Но уже перестали ходить (из-за человеческой бесхозяйственности и речной мелководности?) пассажирские пароходы детства: «Чапаев», «Ватутин», «Черняховский»...

И когда попадаю в сокровенные уголки своего детства, когда на нижекарabutской или на нисолоновской круче вглядываюсь в задонскую даль, когда лежу на затравелой седловине меж Стенками, а травы — в пояс, а глаза схватывают близкие кусты боярышника, шиповника, а далее надолго вглядываются в небо, где пышные белые облака плывут сказочными кораблями, машут мельничными крыльями, пластаются полярными медведями, а то и принимают образы человеческие, и все это движется, видоизменяется, куда-то девается и притом дышит вечностью, — тогда чувствую, какими коренными крепкими силами напитываюсь: хватает тех корневых сил на долгие месяцы.

Узнал от земляков, живущих и работающих в Ростове и Новочеркасске, о расстреле народа, возмущенного не только ценовыми повышениями на хлеб и масло. Вот и мой любимый месяц июнь: первого июня (в ряду как безвестных, так и творчески известных фамилий) появился на свет и я, а шестого июня родился Пушкин, наш вечный гений. И вот теперь меж этими числами солнечного пушкинского месяца — жестокая дата, мрачная тень, позорный для власти день. Мои возмущенные строки: «Я был самоуверен, / Я думал — с нами вьсь... / Новочеркасск расстрелян — / Расстрелян правый смысл... / Я был самоуверен — / Гагарин ввьсь слетал; / Новочеркасск расстрелян, — / Обломан пьедестал».

А осенью — Карибский кризис. И надо же — в геологически и исторически роковой земно-морской части мира: здесь и Бермудский треугольник-кораблеглолатель, и огнедышащие вулканы, и открывальческое приплытие европейцев с их пушками, лошадьми и заразными болезнями; для индейцев, аборигенов благодатного материка, — губительное приплытие.

Мир на грани атомной войны, на грани земного конца. Тьма строк об этом, за-

чем, спросить бы? Видится географическая, геополитическая, общественно-социальная опасность, но куда трагичней незримая духовная религиозно-апокалиптическая реальность. Не зависящая ни от протуберанцев на солнце, ни от межконтинентальных баллистических ракет на земле.

Вдруг вспомнишь, сколь спокойно, но впечатляюще грозно звучало и выглядело на первой полосе «Правды» заявление ТАСС о создании в Советском Союзе первой в мире межконтинентальной баллистической ракеты. ТАСС — одно из немногих сокращений, принимаемых мною как более или менее естественное, органичное, хотя оно и воспреемник Совинформбюро — тяжелозвучного, но в войну первозначимого.

ПОСЛЕДНИЕ СЕМЕСТРЫ В АЛЬМА-МАТЕР

Пятый курс — это уже на выходе из студенческого ареала, из юности, чувствуешь дыхание ветра жесткой, неугадываемой жизни.

Университет богаче пединститута книгами, а университетские эрудиты богаче прочитанным. Владимир Сисикин, Валерий Мартынов — среди первых. Оба знакомы с бездной книг, у самих личные библиотеки, оба пишут стихи, а Валерий — еще и громогласно, раскатисто читает их на вечерах воронежской поэзии. Снисходительно-высокомерное отношение к местным поэтическим именам. Ироническое слово о стихотворце Павле Касаткине, дескать, последний — новоявленный Кольцов — похвалялся, что ни одной книги до конца не прочитал. Оба умны. Валерий, по-моему, более искренен, Владимир более закрыт и высокомерен. С последним — выпивка в ресторане «Дон». Собеседник слегка удивляет, вдруг и как-то по-женски легко перейдя от одного столика к другому — от одной беседы к другой. Мелкое фрондерство, младой себялюбивый протест.

На последнем курсе короткие, трехмесячные месяцы педагогической практики выдались значительными и незабываемыми. Село **Карпенково** в полутора десятках верстах от Каменки (станция Евдаково) — обычное степное село с логами, прудами, широко разбросанными улицами — за короткое время стало для меня дорогим. Учащимся рассказывал, чем оно привлекает приезжающих и за что им, здешним уроженцам, должно любить родное село. Что же до названия... может, от обилия карпов в здешних прудах? Но пруды-то возводили первопоселенцы — из непоседливых жителей Острогожска, отбывших в степь вольную в восемнадцатом веке. Село же не могло быть безымянным, пока поселенцы разберутся с карпами; значит, названо оно, скорей всего, по фамилии одного их первых и чем-то особо значимых, деятельных поселенцев, и фамилия, скорей всего, Карпенков.

Преподавание в нескольких классах — от пятого до десятого. Скоро заслужил, особенно у старшекласников, благодарное признание. Обычно я не готовил поручного плана, но завуч Зинаида Петровна, послушав два-три моих урока, не стала требовать от меня подготовительных и отчетных бумаг, и я часто устремлялся в выси заоблачные. Оставлял с четверть часа на «Тихий Дон», на стихи Пушкина, Лермонтова, Баратынского. Самое радующее меня, что десятиклассники увлеклись отечественной классикой; к тому же они, видя мою эрудицию, достаточно условную, словно ребенок, забрасывали меня массами вопросов. Приучил их бывать в сельской библиотеке, весьма богатой.

Ученицы-десятиклассницы, как водится, влюбляются в молодых учителей, так что и мне дано было испытывать умиляющее светлое чувство от искренней доверчивости десятиклассниц, от тихого сияния их тревожащих славянских глаз, желания девушек-выпускниц узнать все, что знал я о мире, который для них был во многом еще загадочен. Только хотя я и был разделен с ними малой разницей в годах, но мой сердце, разум, воображение давно уже, метафорически говоря, бо-

роздलिए далекие моря и океаны, и был я отделен от этих доверчивых юных глаз тысячами верст и тысячами тревог, сомнений, искушений, влюблений.

Каждодневное — уроки, уроки, уроки... Празднично-памятное — трудная победа нашей хоккейной команды на чемпионате мира в Стокгольме. А еще...

В февральский метельный день приехала Элла. Была она вся в пушистом меху, в снежинках на длиннющих ресницах. Я встречал ее в **Каменке (Евдаково)**, она сошла с поезда, обаятельная, несказанно обаятельная, и на грузовой машине, которую нам выделил председатель колхоза, мы мчались в случайное и не случайное для нас село, близкие, как единое молодое деревце: заслоняя ее от зимнего ветра, я распахнул пальто, охватил им всю ее, и мы стали словно бы единое целое: «На всю жизнь, на всю жизнь!» — благодарно, безмолвно восклидал я. Незабываемые часы, проведенные с Эллой в Карпенково; да будет долгою жизнь этого села!

Когда в апреле закончилась педпрактика и надо было уезжать, нас в знак благодарности чуть не в половину дороги до Каменки провожали и взрослые, и дети — учителя, ученики, их родители. Славные проводы до автотрассы и далее...

(Позже на пути из Воронежа в Россошь часто придется ездить по острогужской трассе, по разные стороны от которой — Дегтярное, Коденцево, Ольхов Лог, Атамановка, иные деревни, откуда за знаниями шли в Карпенково юные умы. У сворота на Карпенково я нередко приостанавливал свои «жигули», и недавнее, с годами все более далекое, возвращалось...)

Пиррон — скептик. Пиррон интуитивно чувствовал, как мы зыбки. И чем прочнее строим метрополитены и небоскребы, тем более мы зыбки и неустойчивы.

Это расщепление ядра во имя смерти. Мы думаем, что постигли ядерность; но нет — ядерность настигла нас.

Есть первые издания Данте и Достоевского, скульптуры Родена и Коненкова, полотна Нестерова, Врубеля и Сурикова, есть Лувр, Эрмитаж, галерея Уффици... Но достаточно малой космической непредвиденности, разрушения сверхзвезды, и рентгеновский и радиоактивный ураган вырвет нашу землю из своей орбиты и бросит ее в темноту, в пустоту, в небытие.

Зреет на всех континентах такое, с чем однажды пораженчески столкнутся «цивилизированные» ядерные державы, мировые верхи. Даже издалека видны исполины: Китай, Индия, Африка, мусульманский Восток; перед ними и американские Соединенные Штаты, вместе с англичанами изловчившиеся ограбить и подмять большую часть земного шара, и Советский Союз с его победами и великими жертвами — малочисленны и неужели малобудущны? А русский путь вечно жертвенен.

Лекции, студенческие работы-изыскания, конференции. И непоездка в Ново-зыбково — на студенческий филологический форум...

(Позже с некоторым удивлением вспоминал едва ли понятные, скажем, для карьеры поступки: готовил студенческие работы и не приезжал на итоговые конференции; приглашали в аспирантуру — отказался напрочь. И далее: предлагалась должность замглавного редактора молодежной газеты в Великом Новгороде — не решился из-за отдаленности от стареющих отца и матери; после признания и высокой оценки книжного «Отчего края» звали на службу в Москву — не поехал. Действительно, я с молодости испытывал равнодушие ко всякого рода карьерному росту, спокойно уходил от маячивших впереди повышений и, с незапамятного лета испытывающий необъяснимое чувство вины перед живущими и ушедшими, «успех ощущая как грех», едва ли бы когда мог душевно принять мое возможное официальное восхождение.)

Перед госэкзаменами — поездка к Эллиной тете Насте в **Перелешино** на стокилометровом удалении от Воронежа. Не столь сахарная, как местный сахарный

завод, жизнь здешнего люда. Об этом узнаешь по жизни одной, для Эллы родной, семьи. В самом начале войны погибнет муж ее тети, вдова останется вдовой, поднимая двух дочурок, с утра до ночи избываясь на работах, не по-женски тяжких.

И моя великая радость, трагическая радость — кинокартины «Летят журавли» и «Баллада о солдате». Это, может быть, лучшие в мире фильме. Народные фильмы. Фильмы на все времена, пока в мире есть чувство народного подвига, народной жертвы, беды и победы, пока есть красота, честь, совесть, любовь...

Сейчас перечитал свои записки, и сразу вспомнились известные слова о французском политическом деятеле, способном недоговаривать или вовсе умалчивать о существенном — зато о незначительном, стороннем пустословить в любой обстановке, будь то дипломатическая встреча или дружеское застолье. Положительным, благообразным выхожу по этим запискам. Во мне же столько боролось и борется противочувствий, столько тьмы наплывало и наплывает на меня... И даже — пусть не главное — в разные лета встречи с девушками. Пусть обычно и без физических реалий и последствий встречи. Но в них же не только взаимные свет и эмоциональная радость, а и горечь, и даже не только от наступающих расставаний... А огорчать никого не хочется — всегда помнишь: в историческом потоке отношений меж юными столько было их, девушек чистых и греховных, любящих и более всего страдающих!.. Страдающая девушка, страдающий ребенок — предвестие будущего тотального опошления и ожесточения человечества.

И мои отношения с Э. и В. — моя неизгонимая вина. Амбивалентность, релятивизм, разнодорожье, двувариантность — часто форма лукавства. И зачем? Э. — к ней глубокое искреннее чувство, она моя избранница, моя муза, свыше данная. В ранней юности думал: сколь неожиданно соединяются в роду разные крови. Э. — русская-русская. В. — малороссиянка, украинка, похожая на одну из древнегреческих, а скорее, еврейских красавиц, влюбленная в меня с вдохновенно-жертвенной беззаветностью. А я? Главное чувствование, что Э. — моя судьба и иные возможные лирические увлечения уже не смогут и отдаленно сравниться с чувствами к Э. либо отразиться на них. По строгости, мне нехорошо: противны всякие лжеразмышления вокруг реального древа жизни двух молодых женских сердец, любящих одного.

Кафкианский вариант... Недавно и нечаянно прочитанный рассказ. Человек превращается в нечто иное. Насекомое, инсект. Что здесь — авторская болезненная прихоть или пронизательность писателя в том, что человечество ждут большие необратимые изменения? Во всем?!

Заканчивается моя малоразумная юность, заканчивается студенческая пора. Не приняв соблазна аспирантуры, выбрал я учительство, просветительство — выбрал Северный Кавказ!

Исписан последний лист — со строками о прожитых двадцати трех годах. Закончена моя студенческая тетрадь.

(Ностальгический взгляд через годы. Удивительное, из детства вынесенное и на всю жизнь памятное впечатление. Вчерашний семиклассник из дальнего донского села, я впервые ехал в Москву. Перед Отрожкой поезд надолго остановился. По правобережным холмам тянулся Воронеж, и в нем ушедшая война руинами все еще напоминала о себе, даже, казалось, таила угрозу своего возврата. Но тут в вагонном окне я увидел — и больше уже не мог глазами оторваться — прекрасное белое здание с колоннами; на правобережной гряде в окружении малых домишек оно вздымалось, словно в камне торжественное песнопение. Здание было — как из другого мира, как тайна, как недостижимость. «Хотя бы на миг побывать там, увидеть, что внутри!»)

Увидел — и не на миг: через несколько лет я поступил учиться в Воронежский государственный педагогический институт на историко-филологический факультет.

Исподволь многое стало привычным, даже близким. А вначале все было ново и захватывающе: ученый дух кафедр и лабораторий, торжественные встречи в актовом зале и, конечно же, зал спортивный, где институтская волейбольная сборная, одна из самых сильных в России, неотразимыми ударами вызвала наши молодые восторги. А фундаментальная библиотека! Какая торжественная основательность в самом названии! И хранилось столько научных и художественных изданий, что за пять студенческих лет невозможно было перечитать даже малую часть их. Разумеется, читать приходилось всякое — не только просвещающее, а и затемняющее, идеологически предписанное. Но зато — Достоевский впервые был прочитан здесь.

В ту пору еще не ушедшего советского коллективизма, энтузиазма, шествия — сказать по-русски: единоустремления — принято было в начале учебного года по ранней осени отправлять студенческие силы на помощь селу — убирать зерно, картофель, свеклу, помогать колхозам в поле и на стройке. Каждый вуз снаряжал многочисленное трудовое воинство своих питомцев. Обычно к середине сентября молодые целыми составами уезжали вглубь области. В год моего поступления нашему институту выпали еще существовавшие Абрамовский и Елань-Коленовский районы. Нас, первокурсников, определили в Синявку. Я тогда в каждом новом месте искал близкое, чем-то напоминавшее образ моей малой родины. И хотя ни моего Дона, ни придонских меловых кражей здесь не было, но село и по расположению, и по звучанию показалось поэтичным. Я даже стихи написал — строки, густо «выкрашенные» в синее:

Горизонты — синие линии,
Голубь сизый на синей воле...
У Синявки в сумерки синие
Светом синим пылает поле.
Светом синим — глаза девичьи,
И они — зарниц посинее!
Синий край во хлебах пшеничных,
Как тебя мне узнать вернее?
Видно, черное есть и серое
У Синявки под вздох осиновый...
Но и в черный час все же верю я
В поле синее, в небо синее!

На страдном поле Синявки мы по-настоящему перезнакомились, даже сдружились, узнали кто чем крепок, кто что умеет, кроме того как мешки таскать и шутиливо пикироваться с однокурсницами. Нашлись свои физики и лирики, выявились свои художники — Борис Соколов и Иван Скогарев снабдили рисунками тетрадь моих стихов, названную, к слову сказать, «Синими сумерками». Вернулись в институт — словно в дом родной.

Все было — как во всякие студенческие времена: лекции, семинары, стихи, факультетские вечера; институт с утра до вечера — словно пестрый шумный улей; поштине — цветник юных созданий со всей страны (в двухтомнике «Страницы воронежской прозы», в избранном «Времена и дороги» есть рассказ «Спроси у древних», в котором узнаются альма-матер и штрихи тех студенческих лет).

Нередко, разумеется, бывали досадно-грустные дни, бывали... И преподаватели подчас поступали более жестко, чем хотелось бы беспечной молодости, и денег от стипендии до стипендии не всегда хватало, да и сами по себе перепла-

ды настроений молодости нередко погружали в душевные тревоги. Но оттого же все тучевые мраки пробивал сильный свет, которым озарялась душа? Может, оттого, что главным в переменчивых настроениях было все-таки чувство надежды!

Было время нашей молодости — и как бы возвращенной молодости нашей страны. Помню общую и неподдельную радость, когда в весенний день 1961 года корабль «Восток» с Юрием Гагариным взмыл в космос. Тогда нам казалось, что все под силу нашей родине. А значит — и нам!

Проучительствовал я недолго — три месяца в среднерусском селе Карпенково, полтора года на Северном Кавказе, в чеченском селении Валерик. И хотя дальнейшие годы были отданы журналистике, издательскому, литературному делу, но из «учительского состояния души» никогда не уходил. Я убежден, что не может быть ни хорошего профессионала, ни хорошего руководителя без дара учительского — сопереживающего. Чувство учительства, просветительства в высоком, духовном смысле необходимо человеку, какую бы ни была сфера его деятельности. Поэтому, сын учителя и сам учитель по диплому, я всю жизнь так или иначе возвращаюсь в «педагогические воды» — в своих книгах обращаюсь к образам учителей, участвую как редактор в выпуске школьных книжных библиотечек, изданий для юношества, выступаю перед школьными, студенческими, преподавательскими аудиториями.

В прожитой жизни бывал во многих студенческих «храмах науки» — в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Новосибирске, Бухаресте, Берлине, Варшаве, Праге, Падуе, Риме... И всякий раз невольно вспоминал Воронежский педагогический — свой родной институт.

И всякий раз, вспоминая, мысленно говорю «спасибо» — преподавателям и всем пединститутским сотрудникам тех времен, моим сверстникам-студентам, новым поколениям будущего учительства и тем, кто, надеюсь, учит их знанию истины и чести).

